

18+

Дарья Требеницкова

От меня
до тебя — два
шага и целая
жизнь



Дарья Гребенщикова

**От меня до тебя – два шага
и целая жизнь. Сборник рассказов**

«Издательские решения»

Гребенщикова Д.

От меня до тебя – два шага и целая жизнь. Сборник рассказов /
Д. Гребенщикова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-982529-2

В жизни человека всегда есть место любви. Часто мы ее не замечаем, часто — ошибаемся и проходим мимо. Не все получается так, как мы хотим. И все же любовь — есть. И смешная, и грустная, и нелепая, но это и есть — счастье.

ISBN 978-5-44-982529-2

© Гребенщикова Д.
© Издательские решения

Содержание

Архитектура любви	6
Баня по-черному	8
Сретенка	10
Пожалел...	11
Ниночка Шевардина и Алексей	12
Часы с кукушкой	13
Рождество	14
Старый Новый год	17
Пуговка	18
Зиновья	19
Крыса	20
Три соседки	24
Петров	26
Актриса	27
Илья, Димка и Милочка	28
Ошибка	29
Кот	30
Киноварь	31
Кушва	32
Девушка его мечты	33
Корова	35
«Мышка»	40
Токсово	42
Массовка	43
Сладкая жизнь	44
Сон	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

От меня до тебя – два шага и целая жизнь

Сборник рассказов

Дарья Гребенщикова

*Все персонажи являются вымышленными и любое совпадение
с реально живущими или когда-либо жившими людьми случайно.*

Иллюстратор Марина Дайковская

© Дарья Гребенщикова, 2020

© Марина Дайковская, иллюстрации, 2020

ISBN 978-5-4498-2529-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Архитектура любви

На лекциях он кидал в нее комочки бумаги из тетрадки в клеточку. Она оборачивалась, шурясь близоруко – будто бы не знала, от кого. Андрей удивленно брови поднимал, оглядывался вокруг – кто? Не я! Маша разворачивала комочек – на мятой бумаге всегда было одно и тоже – сердце, пробитое стрелкой, три капельки крови и имя МАША. С восклицательным знаком. Машка стеснялась ужасно, потому что Андрей был не мальчик, а мечта. Заграничные фильмы на закрытых показах. Ресторан Дома Актера. Диски «The Beatles». Сигареты «Marlboro». Кафе «Синяя птица». Таганка. Он в институт приходил в костюме, а в галстук была золотая булавка. Денди. Девушкам своим дарил только розы с Центрального рынка. Он был красив, как молодой Михалков. Даже круче. Он входил в аудиторию – разговоры смолкали. Облачко запахов – кожа, сигареты, бензин, дорогой одеколон. Было еще что-то непонятное – но кто тогда знал запах виски? Все в институт таскались на метро – кто со спортивной сумкой, кто с портфелем, да еще планшеты – архитектурный, как никак. Уже, подъезжая к Кузнецкому мосту, в вагонах метро студента МАРХИ было видно – толпа, матерясь, обтекала несчастного, а тот, пытаясь уберечь начерченное ночью, прижимал к себе несуразно огромную папку с чертежами. Андрей на машине ездил. Машина тогда была только у ректора и у англичанки с кафедры. Всё. Андрей дубленку скидывал в машине, ключиком закрывал, даже зеркала не снимал – пижон, и шел – с папочкой кожаной. Ему архитектурный не был нужен, просто дед был заслуженный -именитый-признанный. Архитектор. Вот, внука и определили. Машка – нет. Машка трудяга была. Поступила с четвертого захода, сидела в «ка-бэ», пыхла, мечтала города будущего строить. Чтобы, значит, красиво и жить удобно и люди добрым словом вспоминали. Казаков там, Кваренги, Гауди, Корбюзье. А предстояло – девятиэтажки в Бирюлево. Она знала и томилась. Но – корпела, дома всем мешала со своими макетами, в двушке, с родителями, бабушкой и сестрой с ребенком. А тут – любовь. Она, как Андрея видела, слепла. Ну вот – буквально. Не видела ничего. Такой феномен со зрением. У них все и случилось после вечеринки – всем потоком завалили «гражданское строительство», и пить пошли водку не в общагу, а в ресторан, и Андрей Машку к другу увез. И ехали они на Жигулях цвета «липа», петляя, выделявая восьмерки, и Машка визжала, и ловила воздух ладонью, выставив руку в окно, и орала какую-то песню Stevie Wonder, а Андрей свою руку ей на плечо положил, и целовал, не глядя на дорогу...

Они встречались только по его звонку. Машка понимала, что ей, туда – где он, дороги нет. Там другой «класс». Смешно ведь, еще социализм был, а – «класс». Андрей звонил ей неожиданно, когда она уже уставала ждать, и она ходила по дому с телефонным аппаратом, чтобы не разбудить никого, и разговаривала в ванной, шепотом. Весь апрель они бродили по Москве, заходя в гулкие парадные особняков московского модерна, где еще плакали увядающие лилии на кованых решетках, и прекрасные греческие лица кариатид безучастно смотрели на бассейн «Москва». Андрей дышал ей на пальцы – у нее в ту весну так мерзли руки, и она опять стеснялась, потому что потеряла перчатки, а он целовал ее и от него шло тепло, и глаза его смеялись а потом становились страшно серьезными. Я люблю тебя, Машка моя, моя девочка, моя глупая Машка, – говорил он, и Машка, почти не видя его лица, только глупо плакала и хлюпала носом. Не могла же она сознаться, что не просто любит его – она им живет.

Его посадили сразу, как они окончили институт. За фарцу, торговлю валютой и за что-то еще, о чем умолчали на комсомольском собрании. Дали четыре, потом скостили – но Машка ничего об этом не знала. Она устроилась чертежницей, потому, что это отвлекало её, и в мире точных линий можно было существовать бездумно – когда она стояла у кульмана, то просто работала и переставала плакать. Жить не могла, но – работала. Он пришел ночью – постучал в дверь, и, пока Машка, путаясь в халате, шлепала, чтобы посмотреть в глазок, он уснул около

ее двери. Просто сел – и уснул. И Машка села рядом и сидела до утра, и боялась шевельнуться, потому что он положил ей голову на плечо.

А потом они поженились, потому что умер великий дед, развелись ненавидящие друг друга родители, и пришла перестройка, и давно уже угнали машину цвета «липы», и износились костюмы, и курил он теперь обычную «Яву». В середине 90-х они уехали в Германию, откуда он стал гонять машины на продажу в Россию, а Машка нашла работу чертежницы. У них небольшой дом в небольшом городе, и небольшая собака цвета «перец с солью». У них нет детей, но ведь это не так важно, правда?

Баня по-черному

Грибанов Толик, Гришаев Мишка, Гольдфарб Севка и еще пять-шесть мужиков без особых примет сидели в охотничьем домике. Пили третий день, потому как пурга мешала охоте. Собственно, пурги не было, но что-то мешало. Давно кончилась финская, давно кончилась шведская, подбирались к сливовице, но неуверенно. Ели мало, потому как собирались завалить кабана, но пурга все-таки мешала. Спали сидя, чтобы не тратить время на сборы – когда пурга кончится. Толик с Мишкой порывались собрать народ почистить дорожки, но Севка сказал – а на фига? И все с ним согласились. Утро четвертого дня выдалось настолько неприлично солнечным, что мужики зашевелились, расчистили дорогу и выкатили Севкин джип – ехать за водкой. Стояли, курили, терли глаза, а солнце поливало по заснеженному лесу, и такая благодать разлилась по сердцам, что подъехавший Range Rover долго гудел, прежде чем на него обратили внимание.

– Севка! – заорал выпавший из машины мужичонка с чемоданчиком, – Севка! Сукин кот!

– Жорка? Ты? Жорик? – Севка очухался и обнял мужичка. Тот пришелся Севке до подмышек, но это не умалило радости встречи. – Вот, – Севка постучал по Жорику, – вот! Приехал тот, кто нас спасет и мы начнем новую жизнь!

– А на охоту? спросил Толик Грибанов, вислоусый блондин с рыбьими глазками, – а то мы вчера весь аресенал расхреначили, – и посмотрел на стену сарая. Та была – просто в дуршлаг.

– Со мной, пионеры! – провозгласил Жора, и открыл багажник. Пока мужики без примет таскали в избу коробки, Жора ходил по двору как лошадь, которую случайно растреножили, и осматривал окрестность. Ба! – заорал он неожиданным басом, – БАНЯ! Севка! Черт! Баня! Ты же знаешь, кто спец по бане? Кто второй Сандунов? Кто?

– Жора, – Сева ткнул в Жору шишкой, – мальчики! Жора – это спец. Это супермен. Это банный кошмар. Это повелитель веников и укротитель мочалок. Что он делает в парной – не мне – вам. Как он поддает! Он топит по своему рецепту и молчит о нем. Его веники возят в США спецрейсом, и наши эмигранты на Брайтон-Бич, сделавшие себе баню в бывшем салуне, рыдают и возвращают Родине деньги, затаренные в офшорах. Его травы – это Шанель. Поддал – и поплыл. Жора, таки иди уже и начни процесс!

Жора, переодевшись в халат, надел нитяные белые перчатки, взял по чемоданчику в каждую руку, осведомился насчет колодца и дров – и убыл.

– Эй, мужик! просипел кто-то, – ты русскую-то топишь? Жора цыкнул зубом, не оборачиваясь.

Через час, когда компашка приканчивала третью финскую под сервелат, зашел багровый Жора.

– Тяги блин, нет, – он выпил минералки и ушел.

Через два часа, когда про Жору забыли вспомнить, он материализовался. Вид его был страшен. Багровое лицо пересекали черные, дымные следы.

– Ни хера тяги нет, – сказал Жора, – какой м...к эту печку делал? Уроды...

Через час наступил вечер и началась пурга. Мужики, выйдя покурить, смотрели на луну. Удивившись новой машине на дворе, переглянулись.

– А это чья? спросил Севка.

– А фиг его знает? ответил Толик, тут народа полно.

– А давай баню замутим? – сказал Мишка.

– А легко, – отозвались мужики и цепочкой, как тараканы, повлеклись к бане. В черном дыму, покрытый копотью, махал веником Жорик, отчаянно матерясь.

– Якутский шаман! – заорал Толик, – ты куда дрова ложил? Козлина! Туда воду льют на поддать! Топка внизу, твою козу...

Когда баню проветрили, выяснилось, что экстра-классный спец... топил печку-каменку, засовывая дрова не в топку, а на камни...

– Да... сказали мужики, – это все равно что бензин в аккумулятор лить... и вынесли Жору на снег.

Сретенка

Как только вывесили списки поступивших, курс театрального училища сразу разделился на «москвичей» и «общагу». Москвичам было сытно, общежитие – весело. «Столица» в гости особо не звала, так, на дни рожденья, пожалуй, да и то – приглашали с оглядкой. А в общежитие все валили – без приглашения. Здание старое было, даже как бы снесенное. Плита в коридоре, да ледяная вода из-под крана – зато в самом центре. Герка был из Харькова, делил с двумя, с актерского, ребятами, комнатенку – жили дружно, джинсы носили в очередь, таскали посуду из столовок, и делали зарубки на притолоке, как пачку соли купят – сколько, мол, пудов съедим вместе? Герка учился на художника, ему пространство нужно было – этюдник, краски-кисточки, чертежи непонятные на снежных ватманских листах – а актерам – что? книжки можно и в библиотеке читать. Приспособились. Они читали, а он макет строил. Домики, стульчики, столики. Смешно. Пили часто, гости в общежитии жили месяцами, становясь хозяевами. Девушки приходили. Москвички. Особые такие. Эффектные, дерзкие, матом могли – запросто. Если разговор – то Дом кино, Домжур, Колокольчик. Если премьеры – Таганка, Ленком, Юго-Западная. Выставки – квартирники. Общежитие обтесывалась, выпитывала, взрослела. Говорок уже московский, «акали», слога тянули, ко второму курсу уже одевались – не отличишь. А Герка все с этюдником – Москву запечатлевал. Папки с эскизами пухли – по комнате не пройдешь. И зачистила к ним, а точнее, к Герке – Мариночка с актерского. Так, не то, чтобы Лиз Тейлор, но тоже – ничего. Тоненькая, вертлявая, свой парень – и выпить могла, и под гитару могла, и стихи писала, и спала, с кем хотела. А что ей? У нее квартира в Москве, папа-мама, бабушка-дедушка. И стала она Геркой вертеть во все стороны, то приблизит, то пошлет, то плюнет, то поцелует. Тот извелся весь, изревновался, даже подрался из-за нее, из-за Мариночки. А летом и случилось. Разъехались все, а она его к себе, на Сретенку, пригласила. Просто так. И пили они Шампанское, и шли босыми под июньским дождем, вслед за ручьями, бежавшими к Трубной. В августе Герка уехал в Харьков, а Марина поняла, что «залетела». Вот, думала, Герка обрадуется, все ж-таки – москвичка. А Герка и не обрадовался. Ты мне, сказал, будешь со своим ребенком мешать. А я, сказал, большим художником буду. Так что – мне этот ребенок ни к чему, и прописка твоя – ни к чему. Проплакала Маринка, нашла врача, и не стало их с Геркой, общего ребенка. А Герка пить начал, институт бросил, так, перебивался где, непонятно, и в Харьков тоже не вернулся. Маринка замуж потом вышла, а детей так и не было. Квартиру продала, когда родители разошлись, а бабушка с дедушкой умерли. Иногда она приходит на Сретенку. Летом. Если дождь. И ходит вот так – вниз, к Трубной, поддевая босой ногой пустую пивную банку.

Пожалел...

– Ваша сумочка? – надо мной склоняется лицо с веселыми усами.

Усы не просто подняты вверх, но и закручены! Думаю про себя – неужели на ночь надевает подусники? Или теперь их не носят?

– сумочка, спрашиваю, Ваша? – лицо свежо с мороза и даже румяно.

– поднимите меня... пожалуйста... – жалобно прошу я. Понимаю, что лежу на тротуарной плитке, но в луже. Из положения лёжа видна хорошая обувь сочувствующих. У меня даже возникает желание повернуться и посмотреть на тех, кто справа от меня.

– да что Вы к ней пристали, с сумкой-то? – говорит резкая девушка с мягким вологодским акцентом, – надо же поднять человека, а потом уж сумки ему в нос сувать!

Все соглашаются. Находятся добровольцы, готовые взять меня под микитки. Но – скользко. Неумолимо. Двое падают со мной, и нам уже становится весело лежать втроем.

– мда... проблема! – это – охранник. На нем темная форма со странными знаками и надпись на новом русском языке. – тут полицию надо! не иначе, как дама – главная. А Вы – он обращается к «Усам» – сумочку-то отставили бы... знаем мы, что в этих сумочках...

– а Вы загляните внутрь. – советует быстрая старушка, сменившая положенный пожилым москвичкам каракуль на пуховик, – там есть документы, телефон... наверняка...

– не трогать! – охранник рявкает и вызывает последовательно – МЧС, Полицию, Скорую помощь...

– ты бы еще общество спасения на водах вызвал! – хохочет лежащий рядом парень, – и этот... Мосводоканал!

Постепенно толпа редет, добровольные спасатели встают, отряхивая брюки, оставляя меня лежать одну. Теперь уж нужно дожидаться специалистов, и меня, со сломанным голеностопом, отвезут в больничку на окраине, куда-нибудь под Подольск, где я буду лежать в коридоре, а мимо меня будет проезжать, гроыхая, больничная кухня...

– тетя, тетя! – малыш протягивает мне чупа-чупс, – не плачь!

Он садится на корточки, и гладит меня по голове.

Ниночка Шевардина и Алексей

Ниночку Шевардину Алексей знал по брату ее, Игорю Шевардину, с которым сошелся дружески еще в Константиновском артиллерийском училище. Наезжая к ним в имение под Вильно, подтрунивал над нескладной тощей девицей, нрава весьма капризного и к тому почему ужасною ябедой. Старшая сестра Ниночки, Натали, размышлявшая в то лето – выходить ей замуж, или нет, привлекала его куда больше. Но – увы, Натали обручилась, и вышла замуж за скучнейшего человека, чиновника Департамента полиции, и, казалось, была этим счастлива. Весьма раздосадованный, Алексей Ергольский, получивший к тому времени звание подпоручика и определенный в 11 артиллерийскую бригаду, торчал в городе Дубно на Волыни, все прошедшие два года тосковал, дурил, хотел было стреляться от неразделенной любви к дочери командира дивизиона, но случайно выздоровел ото всех этих глупостей, занялся живописью на смех господам офицерам, и все писал дивный вид Девичьей башни. Сошелся с хорошенькой горничной Любомирских, бросил её, устав от вопрошающих глаз и бесконечного, тревожного ожидания чего-то дурного, взялся неожиданно за книги, и, подготовившись за зиму, с наскока поступил в Николаевскую Академию Генерального штаба. Выказав блестящие познания в стратегии, учился легко, был отмечен начальством, и делал карьеру успешно и уверенно. Неудивительно, что судьба вновь свела его с Шевардиным, искавшим места при штабе, а уж Шевардин с радостью пригласил Алексея на именины Ниночки, и 14 января Алексей уже звонил в дверь дома 17 на Морской, держа за пазухой шинели крохотный букетик фиалок и непонятные ему самому духи, купленные за сумасшедшие деньги у самого Ралле. Чопорный швейцар, отворивший дверь, провел Алексея в бельэтаж, а там уже было жарко от электрического света, и еще пахла осыпающаяся елка, и мешалась под ногами детвора, и мелькали незнакомые лица, и пахло дорогим табаком из библиотеки, и звучал рояль в гостиной. Алексей, отвыкший от домашней суматохи, привыкший и полюбивший суровую прохладу казарм и строгость классных комнат, был ошеломлен. Его тут же схватили за руку, и повлекли играть – в шараду! и непременно фант! а потом были танцы, и беготня по анфиладам огромной и роскошной квартиры, и Ергольского просто затискали и затормошили. Наконец, гости и хозяева расселись в гостиной, и лакеи обносили Шампанским, оршадом и мороженым, и кто-то уронил веер на пол, а потом скрипнуло кресло, кто-то кашлянул – и все замолкло. Вышла к роялю необыкновенной красоты девушка, в платье голубого шелка, каком-то воздушном, хитроумно прибороном, вышитым золотистым стеклярусом. Волосы ее были забраны кверху и украшены букетиками незабудок. Алексей открыл рот и так и сидел, пока Шевардин со смехом не ткнул его в бок. Ниночка – а это была она, запела. «Almen se non poss'io» Беллини, а потом еще, еще, под бесконечные «браво», и устав, закончила «Stornello» Верди, и вышла в соседнюю малую гостиную, прижимая руки к груди, волнуясь и плача. Бывшая тут же сама Медея Фигнер, ее наставница, выбежала за Ниночкой, и говорила ей восхищенно, что та прекрасна, и превзошла многих, и Ниночка все не решалась выйти к гостям. Алексей был влюблен сразу же, как только услышал её голос, и желал объясниться, но не удалось, и он до лета ездил к Шевардиным и просил Ниночкиной руки, но она отказала ему, и он женился на средней сестре, Маше, только ради того, чтобы неотступно следовать за Ниночкой. Маша прощала его, объясняя эту любовь мужской слабостью, родила от Алексея троих детей, и, узнав о гибели мужа на Первой мировой, осталась в Петербурге, где и умерла – в Блокаду. Те недолгие годы, прожитые с Алексеем, считала счастливейшими и хранила память о муже, вырезая его лицо с фотографий, где он был в офицерской форме. Из троих детей уцелел младший Андрей, ушедший в Бизерту с флотом и окончивший там свою долгую жизнь, полную воспоминаний о прекрасной Родине, но так и не решившийся навестить ее – хотя бы даже в память о предках.

Часы с кукушкой

Дмитрий Владимирович Столяров сидел в избе – привычки называть избу домом он еще не приобрел. Изба стояла странно косо по отношению к улице, и казалось, что машины, проезжающие мимо, въезжают в избу. От этого был неуют, и пришлось занавешивать окно сначала разноцветными тряпками, а потом уж и вовсе – задвинуть шкафом. Телевизора в избе не было, радио не было, Дима решил отказаться ото всего, что раздражает, и жить жизнью простой, как граф Лев Николаевич. С плугом, правда, по двенадцати соткам не пройдешь, но можно выйти на пригорок и махать косою там. Дима получил с избой в наследство пару комодов, стол, табуретки да несметное количество кроватей – чуть не рехнулся, пока не понял, что их просто сперли из закрытой больнички. Меланхоличная кукушка в часах застревала, не в силах открыть дверцу, и сипела там, внутри. В печи гудело ровно, к морозцу, блаженное тепло шло по комнатам, и старый спаниель, положивший лобастую умную голову на передние лапы, блаженно посапывал. Кошку, что ли, завести? подумал Дима, – все-таки баба, какая-никакая. От бабы хоть уют, мурлыкать будет, в ногах спать, свернувшись клубком. Он вздохнул и повертел в руках кружку с надписью «LOVE NY». Не, от кошки котят. Опять же коты припрутся, весь чердак уделают – где белье вешать? Все было хорошо в Димкиной жизни, хотя до пенсии еще было порядочно лет, и дом он получил отличный задарма, и машина есть, и руки есть, и голова есть, и деньги заработать где – тоже есть, а нет чего-то. Главного нет. Чего-то такого, как в книжках. Чтобы сердце зашлось, и только одно имя в голове, и только к ее дому бы ноги сами шли, да только б ради нее одной и жить! Разве это кошка сможет? Посипела, побилась кукушка в часах, свет погас, за окном повалил снег, и навалилась тоска. Пока шарил в поисках свечки, опрокинул кружку, натекло на пол, промочил ноги в шерстяных носках – полез искать спички, налетел коленом на угол табуретки, взвыл, от этого залаял Кай, поэтому стук в дверь Дима не услышал. Потом забарабанили в окно, но оно было закрыто шкафом, и пришлось искать фонарик, а фонарик был в куртке, а куда Димка бросил куртку – он и сам не помнил. Когда же, наконец, он отворил входную дверь, то увидел молодую женщину, буквально залепленную снегом – ой, простите, сказала она, – вы спали, наверное? Я просто тут не знаю никого, а свет отключили, а я не могу генератор завести... Поможете? Да не то слово! – Димка был готов сам давать электричество – от радости. – Пойдемте! Ой, – опять сказала она, – Вы простите пожалуйста, а у вас тепло? Конечно! – Димка сиял, – я ж натопил! Ого! Вы проходите, я сейчас чаю сделаю! ... Понимаете, оправдываясь, говорила гостя, – просто я приехала, а в избе холодно, а я печку не умею топить, а тут еще и свет, а у меня – вот, – она положила что-то на стол, – котенок. Ну, в дом! На счастье же ... а тут такое. Уже свистел чайник на газовой плите и старый Кай, учуяв кошку, ушел, обиженный и лег под Димкину кровать, а они все говорили, и уже давно дали свет, а кукушка, одолев, наконец, скрипучую дверцу, сказала вопросительно – Ку-ку? и Димка ей ничего не ответил.

Рождество

Шушуканье, шуршанье, загадочные лица мамА, сестер... Кузины заезжали вчера к чаю, но его не позвали, оставив в детской под неусыпным оком папиного денщика, Анисима. Олег выпросил у отца таблицы с формами Русской Армии и рассматривал их, полулежа на оттоманке, укрытой турецким ковром. Ковер больно кусался даже через чулки, но был так завораживающе красив, что Олег прощал ему это.

Рождество приближалось мучительно, тягуче медленно! После прогулок по Летнему саду, пока денщик отца Анисим разворачивал его, как куколку, снимая башлычок, теплые ботики, а прислуга мчалась накрывать чай, Олег раздумывал о подарках, которые полагалось делать ему самому. За своим маленьким бюро, вмещавшим изумительные акварельные краски в фаянсовых блюдечках, тонко очиненные папой карандаши и даже пастель 48 цветов, Олег придумывал картинку, раскрашивая их старательно, подглядывая сюжеты из разложенных на визитном столике открытых писем, которые родители получали от многочисленных родственников.

Но дело продвигалось так нескоро!

Между тем дом жил в волнении, на кухне совещались кухарки и приглашенный повар, мчались к Елисееву за ананасами, на Сенную за поросятами и гусями, а уж из Белой Церкви присылали дары к столу и подарки «под елку» от двоюродной тетки. Первый Рождественский завтрак был непременно на Кирочной, у деда Зволянского, а обедали здесь, дома.

Олег старательно прикладывал выпрошенные у папА листы кальки на красивые картины боя при Бородино. Еле дыша, слегка нажимая на грифель, он обвел всадника на лошади, и принялся за красивые клубы дыма от пушек. Размышляя, как бы удачно это раскрасить, он пропустил стук входной двери, возгласы мамА – Ах, Серж, право, отчего ты так поздно? Тоненько звенькнули шпоры, легли в фуражку перчатки с мягким хлопком, послышался смех, звук поцелуя. Анисим принял шинель, смахивая с нее снежинки, будто невиданных белых бабочек, и вот уже отчетливо заговорил паркет, проседая под каблуками офицерских сапог. ПапА приоткрыл дверь в детскую, вместе с ним ворвалось веселое облако запахов, так любимых Олегом – это и терпкий запах лошадиного пота от папиного коня Дарлинга, и запах опилок из Манежа, и дым от сигар и папирос, пропитавший насквозь даже папины усы. От папА пахло морозом, вином, ужином из Офицерского Собрании и тем особым запахом кожаной портупеи, который нравился мальчишкам и женщинам... ПапА ласково потрепал Олега по затылку, поправил воротник матроски, глянул через плечо на рисунок, щелкнул по драгунскому мундиру – пропустил! будь внимателен!

Повернулся к двери, пошел, не спеша расстегивая пуговицы, выпрямляясь, будто скидывая дневную усталость...

Олег, оставив Бородино, подбежал к окну, встал на коленки на широкий подоконник и надышал себе кружок, в который видна была Дворцовая площадь, караульные и веселая маскарадная метель...

Караульный не заходил в будку, дышал в башлык, и даже отсюда, со второго этажа, был различим пар и чудились заиндевшие усы и брови. Пролетела коляска, запряженная чернильно-черными лошадьми, процокала извозчичья лошадевка бочком, и вновь площадь обезлюдела. Спину грело тепло голландки, а от сквозняка колыхались тяжелые казенные шторы цвета мундирного сукна, тисненные поверху гербами губерний. Олег нехотя слез с подоконника, хотел было вновь приняться за поздравительную картинку, но внезапная скука и томительное ожидание сморили его, и он, свернувшись клубком на оттоманке, притиснул к себе белого медвежонка в клетчатых штанишках, и уснул, уткнувшись в бархатную подушку.

Тем временем в гостиной царила та суэта, которая бывает при визитах родственников, когда пожилых дам непременно нужно напоить чаем, а кухарка, как назло, упустила время поставить самовар, и горничная не подшила платье мадам, а дети капризничают и хотят видеть бабушку, а сама мадам упрекает мужа за расстроенные нервы иказывается больной... Подходило время ехать к Всенощной, отцу по службе нужно было быть в Казанском соборе, тогда как тетушки и прабабушка собрались в Смольный в Храм Воскресения Христова. Детей на Всенощную решено было не брать по причине холодной ночи, а ехать с ними к Литургии, с утра. Спешно пили чай, к чаю подали сочиво, в ажурных фаянсовых блюдах, и густеющий белый мёд, пахнувший летом и липой.

Одевались в прихожей, создав веселую суету, горничные мешались, помогая застегивать кнопки на ботах, кто-то из тетушек забыл теплый меховой капор...

Олег слышал звуки сборов в полусне, и окончательно проснулся, только тогда, когда мама, надушенная и щекочущая его воротником шубки, поцеловала в щеку и перекрестила на ночь.

Рождественскую ель готовили загодя. Выбирать ездил верный Анисим, для чего экипировался особо – овчинный тулуп размеров необъятных подпоясывался кушаком, на шапку надевался башлык, сапоги сменялись на валенки. С Анисимом ездил отцовский кучер Пров, мужчина в высшей степени степенный, трезвый и богобоязненный. Уезжали они накануне, аж на Илью Муромца, 19 декабря. Собирали их всерьез, как в поход, хотя и ночевали они на постоялом дворе в Тарховке. Отец, выдавая «прогонные», строго наказывал «мужичков не спаивать, но и на сугрев каждому рубщику подать». Елок нужно было привезти несколько – в сам дом, в домовую церковь, в людскую да еще совсем крошечку – непременно! в детскую – «для аромату» – как басил Анисим.

Через три дня возвращались. Ели, сложенные в сани, укрытые рогожкой, перехваченные пеньковой веревкой, важно въезжали в ворота, а к выгрузке собирались и дворовые, и свободные от караула солдатики, и бабы, и ребятишки. Господские поглядывали в окошко – сгрудившись воробыной стайкой на подоконнике.

Когда ель вносили в дом, Пров шел впереди, покрикивая – не замай, не замай! Двери ширше! Правее бяри! Цыкал на горничных, на солдатиков, бережно несших ель в бельэтаж, в залу. Дом наполнялся густым запахом хвои, терпкой смолы, и тем особым, морозным духом, который сопутствует Рождеству и вызывает легкое покалывание в душе – как от прикосновения иголок...

Парадную залу, в которой собирались лишь изредка, топили нежарко. Перед Рождеством устраивали настоящую «енеральскую», как любил шутить отец, уборку. На казенных квартирах в здании Генштаба жили небогато, но отец отказывался принимать от тестя предложения съемного жилья, и потому Ольга Сергеевна, привыкшая к другому, Одесскому климату и к известной роскоши, терпеливо сносила тяготы подобного житья-бытья, не ропща, но втайне скучая по теплу и дому...

Ну, а к Рождеству-то! Откуда-то находились легчайшие шторы, которые крепились на манер французских, тяжелые витые шнуры украшались канителью, начищались до блеска тяжелые скучные люстры, еще свечные – на 48 свечей каждая. Полотеры из солдат, за небольшие провинности отбывавших наказание, с солеными шуточками да приговорочками, драили паркетный пол, после чего натирали его жесткими твердыми щетками, надеваемыми на ногу – как мохнатые лыжи. Запах восковой мастики так и будет преследовать Олега всю жизнь... Ярчайший – от апельсинового по центру до орехового по углам, пол был до того притягателен, что все, даже горничные, оглянувшись по сторонам – старались скользить по нему, как на катке. Олег и младший брат его Игорь каждый год терпеливо и молча становились в угол между большой голландской печкой и буфетом в столовой за испорченные на коленках брючки.

И вот наступал момент, когда ель вносили в залу! Потолки в зале были высоченные, ель ставили у стены, противоположной окнам, выходившим на Певческий мост. Ель, несомая на плечах, была еще спелената, и только еле заметной дорожкой из иголок обозначала свой путь. Детвору запирали в комнатах под присмотром взрослых. И, как Олег не пытался – хоть раз! хоть глазком! посмотреть, как солдатики, ухая, будут поднимать красавицу, как будут закреплять елку прочными веревками для «устоя», как будет Анисим выстругивать крестовину во дворе, как потащат новую, приземистую, будто щекастую бочку и начнут сыпать в нее песок, смешанный с золою, и как сдернут наконец, дерюжный куколь с нее, и она, облегченно вздохнув, расправит свои ветви, упруго, жадно рванет – к свету... А дальше! Дальше уже начнется настоящее волшебство! Из чулана нижнего этажа доставлены будут коробка, плетеные из лыка, с такими же крышками, а в них – в них будут заботливо сохраненные прошлогодние игрушки, а в самом старом коробе, обшитом темным в сборку, ситцем так и останутся жить драгоценности – елочные игрушки прабабушки. Их никогда не вешали на елку, но непременно раскладывали на отдельном столе, чтобы детвора могла полюбоваться и даже потрогать – но, тихо-тихо! под присмотром самой бабушки, Софьи Николаевны.

Украшением елки всегда занималась сама бабушка, обладавшая отменным вкусом и решительным характером. Две длинные лестницы-стремянки, принесенные из сарая, принимали на себя проворных молодцов, которые и начинали – с самого верху, с макушки – наряжать зеленую гостью.

На длинный обеденный стол, предназначенный для парадных приемов, настилали клееную скатерть. Поверх нее, по ранжиру, раскладывали украшения. Отдельной кучкой собирали ватные игрушки, обернутые тонкой папиросной бумагой и раскрашенные. Тут и солдаты в форме драгун, и всадники на лошади, и даже крошечные пушечки с ядром, приклеенным на суровую нитку. Царили игрушки – разные народности России – тут уж глаза рябило от ярких костюмов. Толстые бабы-купчихи, с ватным торсом, укутанные по брови в полушалки, в цветастых юбках – лица прописывали отдельно и наклеивали на фигурку. Клоуны в смешных штанах разного цвета, с обручами в руках, балерины в кисейных розовых и голубых пачках, и, уж – непременно! сам Дед Мороз в синем кафтане и с ватной бородой. Отдельно хранился особенно любимый Олегом эскимос, сидящий на настоящей собачьей упряжке! Были и фигурки животных – олень с красивыми рогами, слон с поднятым хоботом, собачки всех цветов, медведи, и почему-то гиппопотам... Бабушка Софья Николаевна, надев холстинковое старое платье, вооружалась мучным клеем и акварельными красками. Горничная Зина ассистировала. К вечеру игрушки были обновлены, подкрашены, подклеены. Самые дорогие, сделанные из витой канители и фольги, изображавшие лики ангелочков и Вифлеемскую звезду береглись столь тщательно, что и починки им не требовалось!

Дети в детской золотили грецкие орехи, клеили нехитрые бумажные украшения в виде цепочек, а Анисим, умевший, казалось всё на свете, аккуратно вырезывал огромными ножницами тончайшие, ажурные снежинки.

Весь дом, казалось, жил предвкушением Праздника, и уж ни о чем другом и не думали...

Старый Новый год

Полина Семёнова ненавидела новый год. Её раздражала уличная суета, веселье казалось ей искусственным, нарочитым, как будто люди хотели объяснить себе, что все не так уж плохо, и есть что-то необыкновенное в том, что «бьют часы на Спасской башне, провожая день вчерашний», и нужно бегать по магазинам, выбирая подарки, и обязательно готовить надоевшую еду, в которой столько майонеза, что не выдержит никакая печенье... а потом будет бессонная ночь и грохот салютов, пьяные крики на улице, загаженная лестничная клетка... Полина Семёнова шла по 5-й Парковой, и раздражение росло и росло, и она искренне не понимала – ЧЕМУ все так рады? В квартире на третьем этаже «хрущовки» было холодно – она оставила открытой балконную дверь, чтобы выветрился запах от холодца. Елка была куплена чахлая, самая дешевая, противная, худосочная елка. И уже 30-е, и еще придется обзванивать маминных старушек, чтобы они непременно были! А потом этих старушек нужно укладывать спать, а все 1 января, когда хочется спать, старушки будут сидеть и ворчать в телевизор. Нет, сказала себе Полина, хватит. И пусть меня расстреляют – но я сейчас сделаю все наоборот. Она решительно вышла на балкон и скинула елку вниз. Изумившись, елка воткнулась в сугроб и придала двору сказочное очарование. Полина побросала в сумку смену белья, паспорт, деньги, спички и бутылку Шампанского. Подумала, и положила два апельсина. Надела старую куртку, натянула теплую шапку – до бровей и поехала на автовокзал. Автобус до ее Никишкино шел в ночь, был полон до самого Ржева, а дальше становилось просторнее и как-то глуше, и уже валил снег, громкими, крупными хлопьями, как будто кидали снежки в лобовое стекло. Вышла она на остановке «61 км», откуда было лесом километров пять, и пошла, прокладывая себе тропку, утирая лицо от снега. Дедова изба стояла крепко, успел дед крышу выправить, и вообще – дом был какой-то основательный, мужской. Полина долго грела замок, а потом, дрожа, сидела на корточках у печки, на низкой табуретке, и пила маленькими глотками водку, оставленную летом, и заедала ее сухарями с малиновым вареньем. Сочетание было ужасным, но действие – моментальным. Проснувшись она днем, и вдруг все показалось иным, и откуда-то взялись силы расчистить дорожку, и даже затопить баню, и дойти до селпо, а там был каменный холодный хлеб, конфеты, колбаса и даже помидоры. Подумав, Полина спросила – нет ли гирлянды? И купила пять. И странно ожил дом, и пахло хвоей от лапника, и было так жарко, что согрелась кровать, и включился телевизор, и все вещи будто радостно подчинялись ей, Полине, а она выдвинула стол, бросила на него старую штору, и вышло стильно – с салфетками, и нашлись консервы и проросшая картошка в погребе, и она села ждать боя курантов, и, спохватившись, полетела открыть дверь – впустить новый год, а на пороге обнаружили два кота – рыжий и белый, самого разбойного вида. Белый держал в зубах вялую мышь. С праздником, ребята, сказала Полина, проходите – бычки в томате вас ждут! А вот мышь мы отпустим? Белый прошел первым, Рыжий – за ним, и они втроем слушали бесконечный новогодний концерт, длящийся неизменно годов с 80-х прошлого века, но было так тепло от коньяку, и так громко урчали коты, и шел за окном ТАКОЙ снег... только утром Полина поняла, что забыла старушек, и позвонила самой рассудительной из них и та сказала – Полечка, милая, нам так тяжело к тебе ездить, но мы боялись тебя обидеть... приезжай-ка ты к нам? На Рождество, сказала Полина. – Или на Старый Новый год.

Пуговка

Петр Григорьевич Моршанский, крохотный человечек, железнодорожный служащий, начальник станции «Хотынец» Орловской губернии, по совмещенности должностей и кассир, революцию предчувствовал задолго. В небольшом домишке его, скрытом от дороги кустами акации и стволами тополей, огромными, как слоновьи ноги, было прохладно и покойно. Жизнь шла вполне провинциальная, бродили куры по двору, падала спелая шелковица, пачкая скамейки, да душистый табак одуряюще пах летними вечерами. Зимой же было скучно, снежно, а мимо вокзального здания, исполненного особой прелести, каковую ему придавали арочные проемы окон и дверей, проносились поезда по Риге-Орловской дороге. В каждом из пяти пассажирских вагонов непременно ехал какой-нибудь революционер, таким уж было то будоражащее время после 1905 года. Петр Григорьевич, крутя пуговку с фирменным значком Николаевской железной дороги – топорик, перекрещенный с якорьком, топая ногами, обутыми в ботинки с галошами, укрывая свой носик в кашне, думал о том, что вот, скоро все изменится, и рухнет в прошлое его спокойная, унылая, размеренная жизнь с супругой Верой Всеволодовной, и наверняка упразднят прислугу, и не станет кухарки, и двор мести от снега придется самому, и девчонка Нюрка, взятая из деревни, откажется ставить самовар и чистить его мундир, и не будет чудных четвергов со старомодным «штоссом» у судьи, под наливочку, под «Ерофеича», не будут дамы порхать бабочками на Рождественских балах, не будет чудесных выездов на осенний гон в имение предводителя дворянства, и даже благообразное хождение в Свято-Никольский Храм – наверняка отменят. Почему так думал Петр Григорьевич – никто и сказать не мог. Попадались ему прокламации, написанные грубо и бестолково, не объясняющие ничего, а только призывающие лить кровь, будто сохла глотка у этой невидимой еще революции и нечем ей было напиться. С некоторых пор дочери Лера и Маша, запершись во флигеле с молодыми людьми самого что ни на есть неприятного вида, обсуждали что-то и пели громко, шептались меж собой при родителях, строили из себя нигилисток, почитали бородатого графа, которого, по мнению Моршанского, самого сечь надо было, в церковь не ходили, а Маша, старшая, уже и покуривала пахитоски. Вновь прогремел мимо станции товарный, под тяжестью составленных на платформе и укрытых брезентом орудий проседали шпалы, и трепал ветер башлыки у солдат, и намерзло на сердце начальника станции страшное слово «революция».

В 1917 году Моршанский еще продержится, и лишь зимой 1918 года пьяная матросня пустит его в расход у водонапорной башни за отказ пропустить бронепоезд, и чья-то кривящаяся в ухмылке рожа оборвет фирменные пуговицы с его зимней шинели. Маша уйдет к эсерам, и будет расстреляна позже, в начале 30-х, просто так, за умение говорить по-французски. Всех мальчиков-шептунов из флигеля перебьют в гражданскую, и осознавших, и не понявших того, что они заварили. Выживет Лера, уцелеет чудом, успеет вскочить в проходящий поезд и затеряется в Риге, откуда эмигрирует во Францию. Прислуга разбежится, а Вера Всеволодовна не переживет тифа и будет похоронена за городом, в общей яме. Хотынец измельчает, и скоро вовсе исчезнет с карты – а под шпалами, в гравийной насыпи так и будет покоится кокарда с фуражки Моршанского – двуглавый орел в лавровом венке, держащий в лапах топорик и почему-то якорь.

Зиночка

Зиночка (ах, в свои неполные – не будем-не будем!), она – Зиночка, сменившая старомодную химию на стильную косую стрижку, с дорогой пластикой лица, оставившей узнаваемыми лишь глаза – карие, наивные, доверчивые глаза. Глаза-блошки, глаза-пуговицы. Годы не изменили это чудное личико вечной куколочки, милой травести, женщины-девочки. Зиночка всегда довольна жизнью. Она никогда не считала себя столичной штучкой, и переезд из Джезказгана в Москву приняла, как чудо. Театральное общежитие на Пятницкой, съемная на Даниловской набережной, первая комнатенка в коммуналке на Якиманке, окнами на Храм Иоанна Воина, игрушечно-конфетный, царь-пряник, петушок-золотой-гребешок, потом вдруг – как с неба – своя квартирка на Козицком, но первый этаж, и вечная толпа мимо окон, и темнота и теснота, и, когда не выйдешь – непременно на кого-то знакомого нарвешься и еще дурацкая эта московская неизживаемая привычка – хлебосолюство, а муж Зиночки так это ценил, и дом был бесконечно, до края полон – с утра до утра, и шли чужие, и жили в ее, Зиночкином доме своей жизнью... потому она едва не подпрыгнула до дверной притолоки (потолки на Козицком были за 3 метра с половиною), когда мэрия дала выкупить за копейки четырехкомнатную, даже не в спальном, а вообще – на свалке, на полях непонятной уху аэрации – зато простор, и кухня двенадцать метров, и дом, продуваемый ветрами так, что не первых порях она не решалась мыть окна или вешать белье сушить, но прекратились гости, и настал долгожданный порядок, и лифт возносил Зиночку аж на 21-й этаж, и захватывало дух... правда, до театра ехать было бесконечно долго, и Зиночка мерзла на остановках автобуса и потела в метро, но терпела, на такси хватило бы, но только – на такси. А потом радость стала исчезать, иссякать, и все надежды родить ребеночка для этой огромной квартиры таяли, и муж был разочарован, и пропадал все чаще – ему, выросшему в подвале дома на Петровском бульваре, откуда были видны только ноги прохожих, было страшно на такой высоте и неуютно, и он таскался по друзьям, у которых еще не отобрали мастерские, и пил там, и жаловался на глупую Зиночкину восторженность, и как-то раз не пришел совсем, и Зиночке сообщили через три дня, и она, в ужасе, позволив себе детскую привычку грызть ногти, обивала пороги – чтобы мужу – достойное кладбище, но нет – все оказалось далеко за МКАДом, и после поминок, когда все его друзья поклялись не бросать Зиночку – все исчезли, и появились кошки, которые наполняли квартиру, но делали тоску еще объемнее и горше. Кончился театр – сократили труппу, и началась пенсия, и Зиночка не знала, для чего все это случилось, и почему с ней? Спасение пришло само собой – столкнулась в супермаркете с однокурсницей, та оказалась при деньгах, и, угостив Зиночку пародией на суши, но с хорошим пивом, поведала, как добыть в Москве деньги, и взяла Зиночку в помощницы, и Зиночка стала риелтершей, и так все это пошло удачно, и так хорошо стали сдаваться в аренду старые московские метры, и такой сладкой убежденностью веяло от Зиночкиных глаз... Через пять лет удачных сделок она вышла замуж, за немолодого, но перспективного, из бывших москонцертзовских администраторов, и все стало так хорошо и даже престижно, и сейчас они меняют Зиночкины Котельники и Борин Ракетный бульвар на 3-ю Тверскую-Ямскую, с видом во двор, 3 этаж, правда, без балкона. Жаль только, что кошек пришлось отдать в приют, но Боря их просто – не выносил.

Крыса

Дед Иван Лукич был почтенных лет, но все еще бодр, сложения суховатого, жилистый, упрямый – лоб, что сковородка чугунная, – сетовала бабка Настя Павловна, когда пыталась добиться своего. Дед при совхозе работал в кузне, оттого, видать и характером вышел несгибаемым. Бабка уж привыкла говорить сама с собой, под нос, все гомонила, нашептывала, переставляя горшки да гремя ведрами, а дед сидел у окна за верстаком и ладил какие-то свои железки, постукивая молоточком, потрескивая плоскогубцами, а то и паял что-то, и сладкий канифольный дым плыл по избе. Ну, что, Настена? спрашивал Лукич, – чисто ладан, – отвечала бабка, – до того дух приятный. Дед еще умел лудить кастрюли да самовары, да делать мелкую починку любому инвентарю.

Сыновья их, Василий да Петька, с армии еще ушли жить в город, обзавелись, и не по одному разу, семьями, и теперь наезжали изредка и неохотно. Из живности дед с бабкой держали кур да козу, с бельмом на правом глазу, своенравную и бодучую. В избе жил старый кот Снежок, такой густой черноты, что ясно было – так назвал его дед из чистой вредности. Бабка звала кота чертом, а кот все одно уж был глух – по старости лет. Раньше он исправно мышковал, сносил бабке добычу под печку и ждал за это молока, а сейчас мыши свадьбы справляли – кот и ухом не вел. Спал на сундуке, за печкой. А к зиме пришла в дом крыса, видать, из разоренного у соседей хлева, и принесла приплод в сенях, между сложенных к топке дров. И началась беда, так беда. Крысы портили картошку, грызли морковь, протыкали острыми, как гвозди, зубами мешки с мукой. Дед терпел, все ж тварь живая, аппетит имеет, ничего, не в убытке. Бабка ворчала, приносила от соседки кошку, но та никак не хотела жить в чужом доме. Старый черт, – ругалась она на деда, – хоть мышеловку т поставь, обреудят, спортят все! И только тогда, когда крыса перегрызла топливный шланг в дедовом «Урале», он состругал досочку, соорудил крысоловку – точнее, капкан на крысу, укрепил на острие приманку из хлебца с салом, сбрызнул постным маслом и поставил в чулан. У, сука! – уговаривал дед себя, поглаживая редкую бороду, – ну до чего хорошего человека т довела! На убийство пошел... утром приоткрыл дверь чулана – сработала! в капкан попал крысеныш, совсем еще небольшой, с ладонь. Живой, – ахнул дед. Взяв капкан, поставил на верстак. Крысенок смотрел на него черными глазенками и будто плакал – лапка была перебита. Ах ты, вот бяда, вот бяда, – дед осторожно ослабил рамку. Крысенок остался на месте. Лапка безжизненно висела веточкой. Дед взял сапожный нож, выстругал две щепки, примерил по лапке – ровно. Вздыхая и оглядываясь, залез в бабкину аптечку, нашарил пластырь, примотал щепки к лапке. Даже сквозь очки не видать, какой ты невзобольшой-то, – причитал Лукич. С перевязанной лапкой крысенок вроде как и повеселел. Лукич осторожно дотронулся до него указательным пальцем. Крысенок зашмыгал носом, повел ушками. Смешной, однако... что с тобой делать? отпустить нельзя, Снежок хоть и не чукавый, а догонит да сожрет. Я вроде тебя как от смерти лютой спас? Дед надул щеки, свел на переносице брови – думал. Долго гремел в чулане, наконец, вернулся с птичьей клеткой – как-то из города сын щегла привез, да тот сдох – с тоски, что ли? Разгородив клетку пополам, Лукич уложил ветошку, налил в поилку воды. Крысенок так и сидел – не убегал, следил за дедовыми манипуляциями – понимал. Дед аккуратно взял его за шкирочку и усадил в клетку. Тот завалился на бочок, держа на весу перебитую лапку. Ах, ты, ах ты, как же я... Лукич принес хлеба, скатал шарики и высыпал в клетку. Поверх накрыл тряпкой и унес в чулан.

Лукич от бабки крысенка прятал. Бабка бы и дня не потерпела такого сраму в доме, чтобы крысу поганую держать да еще ручки-ножки ей лечить. Дед, в отличие от Насти Палны, нрава был самого мирного, даже курам головы и то – бабка рубила. А дед вечно домой тащил всякую зверушку увечную. Хорошо еще, ты волка в дом не заволок, – кричала бабка, когда дед выха-

живал кабанчика, взятого от застреленной охотниками кабанихи. Ты ж пойми, – миролюбиво говорил дед. – Ежели по-христиански взять, то в каждом душа то живая? Даже и в корове, хотя в Писании это не указано. Ты сама как убивалась, когда Дочу сдала? Лежала, – создалась бабка, – лежала лежмя, по сю пору в хлев войду, так и вижу ее, мою донюшку. Вот! – Дед поднимал палец к небу, – потому – пусть все имеют право на жисть. Как в Индии, я в телевизоре видел. Все живут, и индусы, и коровы, и собаки, и обезьяны с крокодилами. А чего жрут-то? – не поняла бабка. А сено, видать, – задумался дед.

Дед назвал крысенка Крыс, не мудрствуя. Либо малец, либо девка, тут не угадать. Крыс уже узнавал деда, подбегал к дверце, высовывал носик-шарик, нюхал – что принес? Лукич ему даже кружок колбасы просунул между прутьев. Держать двумя лапками Крыс не мог, пришлось кормить, зажав колбасу меж пальцев. Как-то дед оплошал, да не выкрутил лампочку в чулане, бабка и зайди, да такой скандал, орет-грохочет, аж банки с полок полетали. Убери гадость эту, ой я их до омморока боюсь, да удави ты яво, пожги где хошь – ну кака пакость! Живой он, – дед держал оборону, – и больной, увечный. А ты у кота со рта будто таскал, когда он им бошки откусывал? А этот тебе глянувшись! Убери! А то в печку суну! Токо тронь, – сказал дед, – не зли, Настена, ты мой характер знаешь. Будет жить. Пока рука, или нога, как это, у них – живая не создоровеет. Все, – сказал. И водки выпил. Два стакана разом.

А уж Крыс подрос, тесно ему стало в клетке. Дед с города привез сетки железной, согнул ее – чисто домик вышел. Даже крышу приладил. Покрасил все веселенько, в домике том и спаленка Крысу вышла, и как турничок – палочки такие подвешены. Ты, брат, – наставлял Лукич крысенка, должен себе физическую нагрузку давать. А то как нога плохо срастется-то? Дед даже потихоньку, не обозначая пациента, спросил у зоотехника, чего скотине при переломах дают, и стал добавлять Крысу и скорлупку толченую, и рыбку, а то и сыру кусочек, домашнего. Ты ему еще молока дай, -ворчала бабка, – корову заведи, крысу свою обихаживать. Да ты его пуще меня любишь, то! А чего не любить? – Дед пропускал бороденку меж пальцев, – он характеру золотого прям таки. Крыс теперь не только узнавал деда, но и протягивал левую, здоровую лапку – приветствовал. Дальше – больше. Была у деда гармоника губная, отец с войны привез. Вот он и наигрывал на ней – «во саду ли, в огороде», а Крыса приучил на задние лапки вставать – вроде, как танцует. Бабка ворчала уже тише, а сама тайком, отодвинув занавеску, подглядывала, и ахала про себя. А как-то и дед застал ее перед домиком, Настена просовывала кусочки оладушков, и шептала – на-тко, поишь, бедолага, болезный, угораздило ж! Сразу бы башку-то долой, одно, а так – не приведи Бог!

Постепенно про Крыса разнеслось по всей деревне, стали мужики захаживать – дивились, вроде гадость, а когда, как в доме – так и зоопарк вроде. Чистай цирк, – говорили, – ты, Лукич, прям уголок Дурова! И уж время пришло «гипс» снимать. Тут и бабка вызвалась помогать. Вынул Лукич Крыса, а уж за шкуру тяжеломерно – гля-ко, раскормился в больничке-то! Крыс смотрел, помаргивал, усиками шевелил, – волновался. Дед аж две пары очков надел, для верности. Лангетка уж давно была мала Крысу, но он терпел, не сгрызал. Лукич тихонечко завел лезвие ножниц под пластырь, разрезал его – не снять. К шерстке присохло. Крыс сидел на задних лапках, глядел на деда. Оп ты, а чем же яго отмочить? Настена, неси каросину с лампы. Ты старый, в уме ли, отравишь, это же кто удумал животную в карасине мыть? А, сказал Лукич, давно ли ты его в печке не пожгла-то? Да когда было, я же незнакомая с ним была... бабка пошла отливать керосин.

Намотав тряпицу на спичку, дед смочил ее керосином, провел по пластырю, тот отклеился. Крыс, бедный, чихать начал, глазки слезились – ну, чисто человек, – сказал Лукич. – Вот ведь, я тоже плачу, если карасину нанюхаюсь-то?! Крыс аккуратно встал на обе передние лапки. Ну? – дед с бабкой столкнулись лбами – как? заживши? Крыс неуверенно наступал на увечную

лапку, видно было, что движение вызывает у него боль. Вдруг он сел опять на задние лапки, и стал тереть лапками хвост. Ах ты, шельмец! Наверде броемся, что ли? – дед с изумлением смотрел, как крысенок зачищает свой славный, поросший светло-серыми волосками хвостик. Фу ты, фу... бабка даже отвернулась, вот это мне как не по нраву, этот хвост-то! Розовой буйт, ой, так шарстистый красивше был. А ты яму свяжи с шерсти носок на хвост, – присоветовал дед, – я ему на ночь одевать буду... Скажешь, черт дурной, я еще какой крысе буду носки плести, от удумал, от учудил-то!

Крыс постепенно учился ходить на всех четырех лапках, и стало ему тесновато, хотя и двигался он еще с трудом, припадая на правую переднюю. Срослась-то она срослась, да видать, сильно раздробило костку, горевал дед. Для выгула дед соорудил Крысу сложную систему из водопроводной трубы, оторванной ночью от здания сельсовета. Крыс трубу полюбил, гонял по ней с жутким грохотом, и ржавчина осыпалась на серую шубку.

Зиму сзимовали без хлопот. Кот Снежок к Крысу отнесся равнодушно, даже иногда, сидя около его домика, подремывал, а Крыс принюхивался к коту, не ощущая в нем врага. К весне дед Крыса начал выпускать – но под надзором, на всякий случай, от бабки. Крыс ковылял по половичкам, спущенный на пол, и все шевелил усиками, разнюхивая что-то. Лапка так и не зажила окончательно, потому вверх ему дороги не было, но он обедал он уже уверенно – держа еду обеими лапками.

К маю на картошку приехали сыновья из города, с крикливыми городскими невестками и невоспитанными внуками. Внуки, пацаны-погодки, сыновья младшего сына, носились то с какими-то играми на телефоне, то напоили кур смоченным в водке зерне – такой возраст, чего вы, мамаша, хотите, – говорила Настене крашенная тощая невестка, – у них теперь развитие такое. Ремня бы им по попе, было б тебе развитие, – дед внуков этих не любил, а внучек на этот раз не привезли – школа.

Внуки, Ромка и Валерка, разпрознав про Крыса, жизни тому не дали совсем. Дед уж отменил гулянья по трубе, и Крыс печально сидел в тесноватом для него домике и на нервной почве, стал линять и отказываться даже от любимого сыра. Пацаны, в которых будто вселился злой дух, просовывали между сетки палки, а Валерка раз потащил раскаленную кочергу – хорошо, бабка заметила, отняла, дала ему подзатыльника, да еще сладкого на чай ничего не дала. Сыновья пили водку, Крыс их волновал мало, говорили про городские проблемы, дескать, дорожает все, спасу нет, какая жизнь пошла сложная. А что бы вам в деревню-то не вернуться? – спрашивал дед ехидно, – тут бы и стодились, где родились-то. Земля пустеет, заплывает бурьяном, да осинной горькой. Да брось, бать, о чем ты, а свет, а асфальт? А у нас и машины, и летом (кивок в сторону невесток) им же заграницы всякие надо, чё им тут навоз месить? так и нету навоза, – встревала бабка, – какой навоз нонче, не укупишь ни за что... пока они так спорили, после картошки-то, насажали, почитай 12 соток, да под лопату – где лошадь взять? нету... пока взрослые вели свои нудные разговоры, пацаны тишком, из-за стола, вылезли, да – в чулан, куда Лукич перенес Крыса с домиком вместе. Навесной замок – тьфу, гвоздем откроешь, что они сделали. Открыв дверцу в домик, они стали ловить Крыса, а тот, чувствуя опасность, забился в дальний угол спаленки, откуда его и не достать было. Эх, сказал Ромка, давай крышу ломать, так мы его не достанем! А что сделаем с ним, – спросил Валерка, – домой возьмем? Да нужен он нам, – Ромка даже сплюнул, – мы сейчас коту отдадим! А он съест? – Валерка сделал большие глаза. Еще как! – ответил Ромка, – а лучше мы его на плотик и пустим по пруду плавать. А то и утопим – выплывет? Давай? Давай! А где у деда молоток? Клещи надо! Они тихонько, коридором, прошмыгнули к дедову верстаку. Пришлось свет зажечь, пока инструмент искали, грохоту наделали... Эт-то ктой-то тут в хозяевах объявился? – услышали они дедов голос, – чего ищем не потерявши? А ничего, – отводя глаза, – сказал Ромка, – мы хотели, дед, узнать, как чего мастерить, покажешь? Дед пьяненький, где ему понять... и стал пояснять, рубанок – ту-ту-ту, фуганок, а вот шерхебель, а это кондуктор, тут сверлышком... так и уснул, за верста-

ком. Пацаны в чулан – а домик пуст. Эх, все ты, – разозлился Ромка, – надо было его вытрясти оттуда, а ты! Подрались. Так и уехали – у обоих фингалы под глазами. Бабка на дорогу и того, и сего, и кур резала-ощипала, и варенья-соленья в машины уложила... платком махнула, деда обняла. Уехали... Ага, не все еще вывезли, – сказал дед, -вернутся. Ты им еще и козу б отдала, и Крыс... ой, елки, а Крыс-то! Некормленный? И они, мешая друг другу, побежали до чулана. Дрожащей рукой дед ввинтил лампочку – сиротливо болталась дверка, и не было никого – ни в клетке, ни поодаль, в трубе.

Дед с бабкой бестолково ходили по избе, поднимая половички, заглядывая под кружевные подзоры на кровати, дед даже и в погреб слазил, и под кадушками в сенцах все обсмотрел – нет. Всё, баба, не сберегли. Куды он – хромый-то? Кошка любая съест – не подавится. Лови – не хочу. Бабка Настена с укоризной посмотрела на Снежка. Тот был подозрительно толстый в животе. Съел, – ахнул дед. Съел, – подтвердила бабка. Вечеряли тихо, дед отказался от каши, не стал и молоко пить, и даже шкалик вечерний, ровно на 33 грамма – отодвинул. Чегой-то мне худо, сказал бабке, прям щемит все. Да ты приляжь, приляжь, старый. Дед устроился на обитым материей диванчике с откидными валиками. Посиди со мной, Насть, – попросил он. Так и лежал два дня – борода кверху, хрипел, кашлял, вызвала баба врача с медпункта, та заскочила, давление смерила, заставила рот открыть, холодными пальцами живот общупала, выписала таблеток пить и сказала лежать, что по годам так и положено, еще странно, добавила, что он до сих пор бегал. Бабка загорюнилась совсем, едва себя заставляла кур кормить да козу навязывать – хорошо, травка пробилась.

К июню дед на ноги встал, перво-наперво пошел, домик Крысин разломал, сеточку только не выбросил – мало ли, в хозяйстве сгодится. Хотел и трубу снести к сельсовету, а потом махнул рукой, все одно, советской власти нет. Так и зажили, неся общее горе внутри, боясь заговорить – вроде, как близкий кто умер. Даже кот грустил, дед хоть с него обвинения снял, а все одно – животному неловко.

Уже и сено убрали, и пора было на картошку опять сынов звать, и так дед умаялся с огородом, что приснул прямо так – на полу. Зипун с печки стащил, да и уснул. И снилось ему поле чистое, все во ржи, да в васильках, да солнце такое жарит, яркое, но глаза не режет. И идет дед, зерна бросает, а зерна до земли не летят. Пропадают. Он опять, из сумы достал – бросит – исчезнут. Ну, дела, подивился Лукич, а шорох-то слышать, и ладонь зерно чувствует... открыл глаза – уже рассветает. Шея со сна затекла, он сел, глядит – сидит Крыс его! Да какой большой! Да прямо с кошку! А сидит, как любил сиживать – на задних лапах. А узнал-то – по той, сломанной. Как-то Крыс ее неловко держит, как человек – сухую руку. А поодаль – крысятки. Пищат, но кучкой эдак. Дед на карачках к Крысу – так ты баба, а я тебя за мальчика-т держал! Все думал, где ж яйца то у вашего брата? Не пропала, милая, а мы уж плакали, а ты жаниться ходила... ласковая моя. Крыс прихромал к деду, тот почесал ее за ушком, пощекотал спинку. Ну, приходи, как время будет. Детей поднять, такое дело... Захаживай, и дед заплакал.

Не было с той поры никакой порчи в доме, даже мышей не было. А Крыс часто заходила, только лапка у нее сильно на дождь да снег болела, хромала она...

Три соседки

Они говорят разом, все трое, и так же, разом – умолкают. Я спрашиваю глазами ту, которую знаю давно, еще с институтской поры – вы? расскажите – вы! Нелли Теодоровна не изменилась за двадцать лет – та же. Удачно выбранный раз и навсегда цвет волос – словно вуаль фиолетовых чернил, на тон бледнее кожи пудра, тонкие губы, тронутые розовым карандашом. Мы пьем чай в чудесной квартире на Ленинском, окнами выходящей на Нескучный сад. Здесь не менялось ничего за последние полвека, только вытерся дубовый паркет, и кафельная плитка покидает стены ванной комнаты да дребезжат стекла в окнах. Разруха коснулась всего – как злая фея, и заметна подложенная под ножку стола газетка, и продавленное кресло прикрылось подушкой, и стали заметны пятна на обоях... Их трое – Нелли Теодоровна Зарелава, преподаватель актерского мастерства в известной театральной студии, Инна Ивановна Волкова – актриса, дослужившаяся до заслуженной, переигравшая почти всех бабушек советского кино, добродушная, круглая, сдобная, с фальшивой косой-корзинкой, изрядная мастерица и хозяйка. А уж какие пирожки, какие огурчики, какие наливочки выходят из ее мягких, ласковых ручек – не сказать! Третья – Софья Борисовна Чужая, то ли драматург, то ли поэтесса, с вечно сомкнутым ртом, с опущенными уголками, растрепанная, взъерошенная, как мокрая птица, невыносимо мнительная, ипохондрик, страшная жадина и причина всех раздоров в этой странной квартирке. Как судьба собрала их всех, я знаю лишь понаслышке – все трое вдовы, правда, у Нелли Теодоровны есть племянница в Телави, порывавшаяся неоднократно увезти тетку к себе, но каждый раз получавшая её отказ и обещание приехать в Телави – этой же весной. У Инны Ивановны двое сыновей, но они давно уже живут в США, вежливо зовут мать к себе, но ничего конкретного не делают, так, болтовня – из жалости. У Сонечки Чужой – никого. Расстреляны, замучены, сосланы. Вот к ней-то и подселили по одной – соседок, и, скрученные в одно их судьбы так и стали – общей, больше, чем сестринской. Я прихожу к ним всегда по пятницам, ровно в 18.00, они так трясутся над своим, уходящим, временем, что пунктуальны чрезвычайно. Я приношу их любимый торт «Пražский», который, конечно же, никто в Москве не печет так, как его пекли в ресторане «Прага» в семидесятые. И чай сейчас ужасен, это просто веник, и нет рафинада, и – разве это кагор? Неллечка, уж Вы-то помните – кагор? Нелли помнит, она выпаивала им заболевшего мужа, непременно мёд, алоэ – и кагор, и он встанет- я вас уверяю – встанет. Не встал. Его портрет работы самого Кончаловского – у нее в комнате – напротив кровати, она разговаривает с ним – это слышит Инна Ивановна, которая, хотя и глуховата, но внимательна. Чай разливает Инна Ивановна, непременно заварной – никаких пакетиков! и сервис у них ленинградский, «кобальтовая сетка», конца благословенных пятидесятых, не чета нынешнему, конечно, и ложечки – разрозненные, от Солдатов, с вензелями – переплетенные буквы давно исчезнувших семей... Сонечка почти всегда плачет, и говорит, что Мира так любила эти воздушные безе от «Норда», и Мирочка была так успешна, и концертировала... и никто не слушает Сонечку, а выпрашивают меня – как на театре? Что МХАТ? Что Пушкинский? Что Малый? И бесконечны рассказы Инночки о забавных случаях и громких адюльтерах, и о том, как Инночка получила Золотую Каннскую, но не дали! А Нелли Теодоровна вспоминает Котэ Марджанишвили, которому она успела прочесть отрывок из «Витязя...» а Коберидзе был влюблен в нее – да-да, представьте! И если бы не его Лия, то... Они говорят, они перебивают друг дружку, и качает головкой японская куколка на старом серванте, говорит «да-да, было-было», и позвякивают фужеры и рюмки, знавшие прикосновения ТАКИХ губ, что и подумать страшно, а Сонечка уговаривает меня посмотреть альбом, в котором есть автограф Михоэlsa, и к десяти вечера у меня уже звенит в ушах и я клятвенно обещаю им – ровно через неделю! прийти с диктофоном, и тогда, тогда... А мне еще ехать в далекое Одинцово, которое перестало быть дачным поселком, и мои старушки

высыпают на балкон, ежась от вечернего холода, и Инна отчаянно машет мне, а Нелли сдержанно касается губ, отсылая мне воздушный поцелуй, и плачет Сонечка, потому что вспомнился ей такой же вечер, и театр Эстрады и Борис Иосифович, и Мирочка... и я вдруг сворачиваю в самую глубь Нескучного, поднимая мысками туфель павшую листву, и иду вниз, к Москве-реке, и плачу сама, оттого, что они, в общем-то счастливы, и просили меня непременно подобрать им собачку – ну, такую, знаете, крошку? и только из приюта.

Петров

Петров сидел у окна, наблюдая вялое течение законной жизни. Течение никого не несло, и оттого дед был печален. В годы прошлые, жадный до работы люд бегал, сломя шею – то на покос, то на толоку, то бидон мелассы с фермы обрешить – на самогонку, то с коровами гонялись трижды в день, то телега гроыхала в селпо за хлебом – жизнь! Сегодня пронесло мимо соседку Вальку Обабкину в медпункт, да прошли четыре разного формата кобеля – на свадьбу, в Малые Лаптухи. От несоответствия интереса к жизни к многообразию ее проявления, Петров решил выпить. Пил он редко, четко установив себе, как он говорил «регламент». Отмечались дни праздников как гражданских, так и церковных (для чего теще был куплен толстый по январю численник), отмечались дни рождения тещи, жены-покойницы, товарищей по оружию и отдельно – Ленина, как фигуры загадочной для истории. Ознаменование банных дней выпивкой Петров допускал, но теща не приветствовала. Ссылки на Суворова – после бани портки продай, но выпей – считала личным сочинением зятя. Петров еще позыркал в окно, отметил, что соседский малец сливает бензин у дачника, записал мелко на обоях и решил таки выпить без повода. Теща колготилась около печки, роняя попеременно муку, постное масло и ухват – ставила опару. Отвлечь её не представлялось возможным. Мамаша! радостно возопил Петров, – а чесалку сёдни запустили! Вы бы сходили? Овцы не стрижаы! напустилась теща, только сидишь, дымы по избе пускаешь! Ай, чиста леший! Петров задумался. Мамаша! А лавка приехавши, вона, баб Дуся маётся, не? Чего Дуське не маяться-т? У ней денех много. А у меня нет, я сижу, не шалыгаюсь, как кто не знаю. Петров загрустил окончательно. Солнце за окном постепенно углублялось в закат, а пить на ночь Петров не приветствовал. Расчесав бороду пятерней, поддернув резинку на шароварах, подошел тихохонько к теще, утопавшей по локоть в лохани – тесто она заводила только в ней, емкой и списанной с бани за ненадобностью. Победил китайский эмалированный таз по причине мышиного цвета и фиолетовых роз по кромке. Как я, мамаша, вас сильно непосредственно уважаю в плане любви как тещу, разумеется. Выстрелив длинной фразой, Петров умолк. Добавить было нечего. Любит! Как жа! – завохтала умиленно теща, – ждешь, как я помру, всю по ветру пустишь! Я бы и сей секунд мог, – Петров сделал вид, что оскорблен, – а вот, терплю от вас притеснения, голод и нужду! Уйду я от вас, уйду! и Петров скосил глаз на тещу. Та, отерев о полотенце руки, сладко сморкалась в передник. Казня ты ебипетская, с чувством сказала она и пошла в сенцы, предварительно показав Петрову беловатый кулак.

За накрытым обыденной скатеркой столом сидели Петров и теща. Трехлитровый баллон огурцов придавал застолью солидную мягкость. Теща, запустив руку в банку, пыталась протаскать сквозь горловину гигантские, как цеппелины, огурцы. Зачем вы мамаша, таких достигаёте размеров? покачиваясь в тумане, спросил Петров. Не удобнее ли мелкими наполнять? Чу! сказала теща, на че тебе тощай да мелкий? Небось, бабу себе упитану выбирал, а не с пупырями... да уж скажете, когда я бабу-т? обиженно сопел Петров, наливая себе всклень. И беседа текла плавно, в обсуждении насущных проблем и достижений.

Актриса

Она спускается по Гоголевскому бульвару – все еще высокая, и спину держит прямо, и голова по-прежнему гордо посажена, и шляпка крохотная, с черной вуалеткой, и непеременимые перчатки, бережно подштопанные, хотя глаза совсем не видят ни нитки, ни иголки. Она носит каракулевый сак из седой уже смушки, вытертый по обшлагам и подъеденный молью, но на ней все смотрится так – будто она только вышла из дорогого ателье для кремлевских жен. Анне Викентьевне – давно за те семьдесят, которые уже – восемьдесят. Она одинока. Она – актриса. Актриса из бывших, из тех – на которую шли в театр, на фильмы с которой не было лишних билетиков. Она была царицей, лауреатом всех мыслимых наград, ее добивались генералы, маститые художники, чиновные партийцы – одного ее слова было достаточно, чтобы изменить чью-либо судьбу. Она улыбалась широко со всех открыток и плакатов – кумир сороковых, пятидесятых... Трижды замужем, и без счета – романов, да таких, о которых говорили в столице – из-за нее даже стрелялись, кто-то шел под суд, а кто-то и дальше – в лагеря, лагеря... Говорили, что была любовницей всесильного Берия – и тот присылал за ней самолет, чтобы она соизволила прибыть в Гагры, а уж мимо особняка на Малой Никитской Анна Викентьевна до сих пор проходит быстрым шагом, опустив глаза. Сейчас она идет по любимому когда-то Гоголевскому, так и не привыкнув к новой Москве, и видит все так, как было перед «разрухой» – ей видится жаркое марево бассейна «Москва», подсвеченное адским пламенем прожекторов, кондитерская на углу, в которой стояли, в облаках шоколадного духа – очереди, за настоящими трюфелями, за шоколадными наборами, Бабаевский, Рот-Фронт, Красный Октябрь... Она сворачивает на Пречистенку, и все старые магазинчики, даже угловая Галантерея, где были чудные кружева, и непеременимые белые перламутровые пуговицы – перед ее глазами. Где все они, московские магазинчики? Где «молоШные», «БулоШные», овощи-фрукты? Кануло, растворилось, снесено, и она идет, и никто не узнает этот по-прежнему царственный профиль – Анны Полянской, пережившей не только своих мужей и покровителей, но и свое время, и свою славу. Она свернет в свой Второй Обыденский, заставленный чужими дорогами авто, и пройдет мимо домов, в которых ее никто не знает, остановится напротив Храма Илии Пророка, сдернет перчатку с правой руки, перекрестится, постоит, послушает голоса, доносящиеся из церкви, поколебавшись, зайдет, сметя снег заботливо приготовленным веником, и, оттаяв сразу же в мерцающей теплоте, встанет к подоконнику писать записки, и в который раз поймает себя на том, что все они, ушедшие, далекие – неизвестно, какой веры, и постесняется спросить – а можно ли? но напишет, а «за здоровье» выйдет только три имени, и это опечалит её, и она не ответит на приветствие знакомых ей старух, и пойдет к дому, квартиру в котором она сохранила только Божией милостью, и поставит на плиту чайник, и вдруг затоскует, накинёт на плечи выцветшую шаль, да так и будет стоять у окна, глядя, как мельтешат снежинки, такие же невесомые и недолговечные, как и все – на этом свете.

Илья, Димка и Милочка

Милочка была хохотушка, хотя все время старалась выглядеть строгой – шутка ли, администратор, да еще в таком потрясающем театре, как STARCOM. Театр гремел, на сцене и за кулисами весело творили новую театральную действительность молодые актеры, целый выпуск Училища имени Таирова. Милочка втайне любила оперетку, но тут, влюбившись, мнение свое поменяла. Рискуя быть уволенной, она каждую свободную минуту торчала на репетициях, буквально втягивая в себя глазами восходящую звезду Димку Барского, красавчика, в меру циничного, кареглазого, высоченного, и обмирала, встретив его в коридоре или в служебном буфете. Барский не ходил, а бегал, не говорил, а произносил монологи, и все время – играл, играл, играл... Он менял женщин на девушек, девушек на женщин, путался в связях, обаятельно улыбался всем, снимался везде, куда приглашали, мотался с концертами, пил ночами, и играл, играл... Милочка моталась за ним – тенью. Она была убеждена, что количество всегда перерастает в качество, и ее успех зависит оттого, сколько раз за день она попадет на глаза Барскому. На очередных гастролях в Богом забытом городке, где в гостиничных номерах не было даже душа, а вода текла ледяная и вкусная, Барский заметил Милочку, ввалился, полупьяный, за полночь, в её номер, произвел нехитрые телодвижения и уснул, заняв собой всю кровать. Милочка просидела ночь в кресле, поджав ноги, курила, смотрела в окно на пошлый розовый рассвет и понимала, что любовь ее перешла на новый уровень. Барский, зевая, проснулся поздно утром, и, опаздывая на репетицию, матерился, умываясь холодной водой. Открыв дверь в гостиничный коридор, он убедился, что все спокойно, и выскочил к автобусу, как ни в чем не бывало. Ошеломленная Милочка, ждавшая признаний в любви, загрузила. В театре она была рассеянна, неверно рассчиталась с кассиршей, перепутала входные приглашения, разрыдалась от невинного замечания капельдинерши, и вообще, была бы уволена, если бы не Илья. Илья был тих, полон в талии и бедрах, упоительно спокоен и обожал грозную маму Эсфирь Яковлевну. Мама отказывала ему даже в мыслях о женитьбе, и Илья так и жил при маме, позволяя себе кратковременные связи с продавщицами книжных магазинов и участницами художественной самодеятельности – но лишь на гастролях. Хохотушка Милочка ему была симпатична – если бы ее одеть в крепдешиновое платье миль-дё-флёр, дать в руки бумажный китайский зонтик, а на голову поместить панаму из войлока – вышла бы сама Эсфирь Яковлевна 1957 года – того самого, когда и зачат был Илья. Видя Милочкины страдания, Илья тихо и ласково отстранил ее на день от работы, довез до гостиницы, где отчего-то совершил с ней то же самое, что и Барский накануне ночью. Узнав в номере запах одеколона Барского, Илья промолчал. Так они и прожили эти гастрольные недели – Илья приходил ежевечерне, с тортом, с легким вином и розами, а Барский вваливался редко, изрядно пьяный, требовал «чашечку кофе» и, случалось, засыпал сразу, за столом.

В отпуск Милочка уехала одна, и бродила в Гурзуфе, тяжело одолевая крутые подъемы. Она купалась, ела огромные помидоры и рыдала, глядя на море. В Москве ей поставили срок 11 недель беременности, и Илья, у которого мама Эсфирь Яковлевна тут же слегла с инсультом, женился на ней. Родившегося мальчика назвали Митей. Но в театре никому, а тем более самому Барскому, так и не пришло в голову, что Митя – его сын. Илья и Милочка прожили долго и счастливо, в 90-е эмигрировали, захватив с собой Эсфирь Яковлевну, ее сестру Розу Яковлевну, болонку Розы Яковлевны и фото, сделанное в Сочи, в 1957, где молодая Эсфирь стояла, облокотившись на скамейку и держала над головой бумажный китайский зонтик.

Ошибка

Настя не прошла второй тур в Щепку, рыдала и была безутешна, но тетя Римма, папина сестра, пристроила ее костюмершей в Малый, и Настя, попав за кулисы, сначала не закрывала рот, видя столько знаменитостей в одном месте, а потом не закрывала по другой причине – все фразы о «клубке друзей» оказались чистейшей правдой. Настю выбрал себе в «одевальщицы» народный артист, популярный, правда, в конце прошлого века – сам Олег Шатальский. Барин, вальяжный, всегда при деньгах, картежник, бильярдист, знаток всех значных московских мест, талант редчайший, но и подлец изряднейший, приблизил к себе робеющую поначалу Настю, пообещав протекцию в Щепку – безо всяких туров пройдешь, детка, – и пользовался ею во всех смыслах – требуя не только жестко накрахмаленную манишку и фрак, глаженный без ласс – чего достичь без опыта было трудно, но и услуг совершенно определенного плана. Настя, пытаясь скрыть свое разочарование от разницы между сценическим красавцем и весьма неприятным, немолодым, обрюзгшим мужчиной, быстро научилась закатывать глаза в самом патетическом месте, смотреть на Олега Модестовича влюбленно, постепенно, месяц за месяцем, меняя равновесие сил. И вот уже к лету он, Шатальский, сам пришивал пуговку к манжете, лепетал – не трудись, девочка, черт с ним, со фраком, таскал ей охапками цветы с аплодисментов, и в июне сказал, что влюблен, и предложил руку, сердце и квартиру в Брюсовом переулке. Умная девочка Настя, сидя на широких коленях народного, подкручивала ему ус нежным пальчиком, и, не боясь стука в гримерку, глазками показывала на выдавший виды плюшевый диванчик, списанный с «Бесприданницы». Когда же Шатальский увлекал её туда, вдруг вскакивала – ах! мне же нужно готовиться, ты же понимаешь, как это важно! Ну, котик... Власть, взятая ей, была абсолютна. Конечно же, она поступила, и комиссия закрыла глаза на шипящие и жужжащие, на то, что читала она ужасно, была манерна и её типаж уже был на курсе. Тут же уволившись, бросив неглаженными ненужные никому костюмы, она все же переехала к Шатальскому – ездить из Отрадного до Щепки было неудобно. Шатальский был обескуражен, счастлив, молод, устроил банкет в хорошем ресторане, познакомил, наконец-то, невесту с остатками семьи – старшей дочерью Ольгой и младшим, сыном Егором. Нужно ли говорить, что дети покрутили у виска пальцем, и ушли, оставив разоренный стол. Впрочем, Егору это не помешало закрутить романчик с Настей, потаскать ее по богемным тусовкам, походя добиться, чтобы она оставила в покое народного папу, а потом была отчислена с первого курса за провал на отрывках и непосещение, а уж потом и Егор исчез, растворившись в огромной Москве, которая опять сократилась для Насти до однушки в Отрадном.

Кот

Кот сидел на крыльце, нервно подрагивая кончиком хвоста, все тело его было словно подобрано – готово к прыжку, видно было, как ходят лопатки, как чутко настроены ушки – кот слушал лес. Давно уже в брошенной деревне не стало собак, которых он не боялся, но перед которыми всегда обозначал свою территорию – изгибал тело дугою, пушил хвост, шипел, обнажая желтоватые клычки. При угрозе – кидался к ближайшему дереву, и, перескакивая-перелетая с ветки на ветку, как белка-летяга, уходил в безопасное место, после чего сидел на суку, показывая, что возмущен, чистил шубку, подтачивал когти и только потом, чутко обоняя воздух, спускался – царственно и достойно. Всё давно говорило коту, что должно быть морозно, и с неба должны падать белые хлопья, холодящие нежный нос, а лапкам с необыкновенными, цвета жженого кофе, подушечкам неприятно наступать на оскорбительно холодную тропку. Но, вопреки всем его ощущениям, было тепло, и по такому теплу должны были прилетать птицы, которых он так любил – птицы высиживали птенцов, и добыча эта была сладка и легка. Росла трава, и кот, чувствуя, что ему не хватает чего-то особенного, вырывал из земли корешок дикой малины и грыз его, стачивая зубной налет. Мыши, которые так же, как и он, перепутали времена года, сами попадались в лапы, но кот забавлялся тем, что лежа на земле, ослаблял хватку, отпуская нежную писклявую мышь, давал сделать ей пару шажков, после чего хватал, подбрасывал вверх, будто аплодируя ее полету, и, насладившись ее страхом, отпускал. Выходила из лесу ласка, маленькая, юркая и хищная, словно стрела, но битва с ней была почетной, и кот, пригибаясь и танцуя, делал круги вокруг зверька, прежде чем отвлечь ложным выпадом – и тогда уж вцепиться в шею. И только ночью, когда выходила луна, населяя мир чудесными фантомами и тенями, кот впрыгивал на подоконник хозяйской спальни и сидел, не допуская жалобного мяуканья, ожидая, когда проснутся и откроют окно, впустив в мир, полный домашних запахов и печного тепла. Взлетев на шкаф, кот сворачивался клубком и засыпал.

Киноварь

Аллочка, единственная дочка, удалась на славу, взяв редкую красоту матери, оперной певицы, но не взяв талант отца, художника-графика. А ее сосед по лестничной клетке, Мишенька Залцман, не взял от матери красоту, ибо красоты у той не было вовсе, но зато ее кротость и ум, умение противостоять невзгодам и тяготам жизни, были унаследованы Мишенькой вполне. Мишенька был так нехорош собой и имел столь непривлекательную, даже отталкивающую внешность, что, подвергаясь насмешкам и вечным тычкам от сверстников, предпочитал сидеть дома. Дома же, обласканный бабушкой, тетушками, двоюродными племянницами и мамочкой, он развил необыкновенные способности и вдруг начал так искусно лепить из пластилина, что отдан был в кружок при пионерском дворце, а уж позднее с блеском поступил в Художественную школу, куда, по иронии случая, ходила и соседка Аллочка. Близорукый мальчик, пряча пальцы, испачканные жирным пластилином, стал ходить за Аллочкою тенью, и до того расположил ее к себе, что писал за нее этюды, и ловко копировал музейную классику, и вообще – был незаменим. Когда они поступали в Академию художеств, Аллочку брали со скрипом, но имея в виду папу-графика, а Мишеньку просто рвали на части, провидя в нем великого мастера. После окончания Академии Мишенька получил мастерскую от Союза и решил, зачем-то, сделать предложение Аллочке, хотя вся Мишенькина семья пребывала в ужасе даже оттого, что Мишенька писал Аллочкины портреты и лепил бесконечно ее фигурки, которыми заставил всю, и без того тесную квартиру. Летом случился день рождения Аллочки, ровно 15 июля, и Мишенька, вооружившись букетом и альбомом «Искусство передвижников», отправился поздравлять Аллочку. В большой квартире гремела музыка, Аллочка, выпившая вина, танцевала с Севочкой Бахриным и Мишеньке была не рада. Выслушав на лестничной клетке предложение выйти за него, Мишеньку, замуж, Аллочка зло расхохоталась, подтащила несчастного Мишеньку к окну, за которым темнел проспект, и отражалась лестничная клетка, и крикнула – да ты посмотри на себя! Как я за ТЕБЯ выйду замуж! ты же урод! Крошка Цахес! Ненавижу тебя, что ты таскаешься за мной, маленький, отвратительный тип! Тут Аллочка закрыла глаза, думая, что Мишенька ударит ее или расплачется, но ничего не случилось. У Аллочки вдруг оторвалась пуговка и она присела и стала шарить рукой по полу. Посмотрев на нее, Мишенька снял очки, протер их фланелевой тряпочкой, и сказал – через пятнадцать лет. Ровно в этот же день. И исчез за дверью.

Аллочка вышла замуж за Севочку, стала Аллочкой Бахриной, родила девочку, красивую, как Севочка, но тоненькую и болезненную. Все последующие 13 лет Аллочка боролась за девочку, боролась против пьянства Севочки, боролась с Севочкиными бабами, боролась за квартиру, боролась за гараж и дачу. Давно был отставлен этюдник, сохли краски в свинцовых тюбиках, скорчившихся от безделья, скрипели сваленные в кучу подрамники и желтел холст. 15 июля, когда Аллочка чистила картошку в ожидании гостей, в дверь позвонили. Незнакомый молодой человек передал огромный букет темно-красных роз на длинных стеблях и небольшую коробочку. Аллочка положила розы на кухонный стол, и открыла коробочку. Там, в нежной бархатной глубине, покоилась небольшая статуэтка. Аллочка вынула ее – это была фарфоровая фигурка девушки, которая, присев, что-то ищет на полу. Ого, – сказал появившийся муж Севочки, – фига се? Откуда у тебя Мош Терпин? Кто это? спросила Аллочка. Деревня, – муж дыхнул перегаром, – это же наш Мишенька, его работы даже в Лувре есть. Аллочка швырнула статуэтку на пол, и та разлетелась фонтаном брызг. Дура, сказал муж, ты только что почти пол-лимона долларов выбросила. Ранний Мош, он же потом не работал в бисквите. И ушел. А Аллочка так и сидела на кухне, и отрывала лепестки у роз, и казалось, что весь пол покрыт каплями крови, потому что у Крошки Цахеса было прозвище – Zinnober (Циннобер), что и значило – киноварь.

Кушва

Ниночка Дутова, жившая в Кушве, была из Дерябиных, из тех, кто в 19 веке стояли над Камскими да Пермскими заводами, и вся жизнь ее семьи была буквально погружена в добычу и переработку железной руды. Скучный, доложу я вам, это предмет. Скучный, грязный, взрывоопасный, и вся специфика местной жизни – унылый пейзаж, трубы фабричные, узкоколейки, рабочий люд – ах, какая это тоска для барышни, особенно начитанной, да с тонкой, ранимой душой! Работала Ниночка в местной газете «Кушвинский рабочий», набирала статейки про керамзитовый завод, позволяла себе прикусить начальство за долгострой детского садика, делилась с читателями опытом воспитательной работы в местном техникуме, и скучала, скучала. Писала стихи, благо, что библиотека была, грызла по ночам кончик простого карандаша и исписывала негодные листы формата А4 словами о такой возвышенной любви, – что хоть вешайся, – потому как никто не поймет. Ниночке было 24 года. Возраст – близкий к катастрофе. Население Кушвы редело столь стремительно, что еще немного – и сровняется с довоенным – бежали с рудников, с комбината, бежали от тяжелого, опасного труда. Ниночке бежать было некуда. В доме от заводоуправления проживала она с мамой, папой, бабушкой, незамужней сестрой и еще чьей-то дальней родней, пригретой в пятидесятые. Политкаторжанка, говорила бабушка уважительно. Куда с таким паровозом? И Ниночка стала ходить в кружок для взрослых. На танцы. Через год ей исполнилось 25, и танцы пришлось бросить. Дело было зряшным. Мужчины предпочитали пиво. Покрытый пылью завода ЖБИ (железобетонные изделия), городок подышал потихоньку.

Губернатор области, желая спасти положение, проложил туристический маршрут по Свердловской области, с заходами, так сказать, на старые заброшенные рудники, с осмотром красно-кирпичных руин на месте справных заводов, что обеспечивали не только Россию, но и Европу рудой да такими ископаемыми, которые ныне уже глубоко закопаны. Снарядили настоящий отреставрированный поезд, усадили в него актеров да любителей, кого нарядили царским вельможей, кого инженером, кого охотником-вогулом из местных – дали колориту, что называется. И Ниночка сгodiлась с ее немецким. Парик напудренный прицепили, одели всю, как на портрете – стала она Анной Иоановной, но – потоньше, конечно. И стали катать туристов. Немец хорошо шел. Еще бы! Сам барон Шёмберг выписывал из Саксонии мастеров – вот, ехали слезы лить, глядя на остатки прежней роскоши. Ну, и влюбился в неё немец, да. Горный инженер. Она – фу, нос воротить – видала я, мол, горных-то! Ага. Шило на мыло. Он чуть не в слёзы, к ручке припал – готов, говорит (на немецком, ясное дело) – прожить с тобой, краса моего сердца, где скажешь. Бабушку немного подвинули, маму с папой в санаторий – неделю продержались. Нет, сказал муж, поехали в Зальцгиттер. Чего я там не видала, Господи, рыдала про себя Ниночка, уже Ниночка Бергманн, правда, вот, из одной Кушвы да в другую!

Теперь работает она на заводе компании Salzgitter AG, стихов не пишет, правда. Но понимает, что не зря Петр Первый все в Германию ездил. Хотя, говорил – по делу.

Девушка его мечты

Георгий Михайлович Белобородов пришел в себя на паркетном полу гостиной. С некоторым замешательством он огляделся вокруг – узнать шкаф из положения лежа было трудно. Взгляд его привлекли разношенные домашние туфли, теннисный мяч кислотного цвета и смятая пивная банка. Георгий Михайлович попытался вспомнить, с чего это он тут лежит и как долго он лежит? В окне был вечер или мутное утро. Шел слабый снег, нежный и робкий. Ну, ясно одно – это не лето, уже легче. Жора решил покончить с унижительным положением и встать. Не тут-то было! Дичайшая боль, от которой он открыл в изумлении рот, не дала ему даже повернуться. Правда, от боли прояснилось в голове, и Жора вспомнил, что он полез на стремянку, чтобы достать заначку, укрытую от самого себя в февральскую получку прошлой зимой. Потолки в «сталинке» были высокие, и дедовы шкафы уходили вверх и терялись из виду, как шпиль МГУ в облаках. Значит, – понял Жора, – я звезданул с стремянки. Теперь надо понять, что я себе сломал? Времени было предостаточно – Жора сгибал и разгибал пальцы – начав с мизинца левой и закончив мизинцем правой. Функционировало. Потом Жора пошевелил правой ногой. Организм молчал благодарно. С левой фокус не прошел. Ну, вот, – Жора возликовал, – перелом левой ноги, делов! Сотовый лежал на столе и дребезжал. Жора наблюдал и ждал, когда вибрация подгонит телефон к краю стола – но телефон, падавший регулярно при каждом звонке, дрожал, но держался. Жора пнул правой по ножке стола, мгновенно взвыла левая, но телефон слетел на пол. Через два часа приехала «Скорая помощь». Но, потоптавшись у двери, уехала, причем врач со скорой перезвонил Белобородову на сотовый и пригрозил сломать вторую ногу, после чего вызвали соседа, который, слегка надавив на дверь туристическим топориком, впустил бригаду и даже лично помог снести длинного и упитанного в области чресел Белобородова в карету. Жора с тоской подумал, что сосед, получив доступ в квартиру, разорит его дотла и вынесет собрание сочинений Ромена Роллана и шелковое кимоно бывшей жены и найдет коробку с заначкой, за которую он, Жора, так жестоко пострадал.

В Градской больнице к Жоре отнеслись неплохо. Меланхоличный юноша, татуированный по самые уши, в которые были вставлены динамики, катал его по бугристому полу в каких-то подземельях и такие же неулыбчивые неторопливые юноши и мужики грузили его туда-сюда, и Жора, лежавший на каталке, продуваемый сквозняками, ощущал свою распухающую в голеностопе ногу и слушал рэпера Канье Уэста, оравшего так, словно ему пива не долили в пабе. Наконец, после двухчасового совещания дежурного хирурга с дежурной же медсестричкой, во время которого они, видимо, оплакивали Жорин перелом, Жору вознесли на лифте на 2 этаж, в хирургию, где и забыли до следующего дня. Жора, лежа на каталке и ощущая ее никелированные бока и общую ее, каталкину, неприязнь к больному Жоре, восстановил в уме весь путь своей многотрудной жизни филолога-германиста и пришел к выводу, что жил не так. Раскайвшись, он пообещал себе, что как только его нога присоединится к здоровой и ступит на твердую почву, он, Жора, наконец уедет в Германию, в город Дюссельдорф, познакомится с обер-бургомистром, и напишет книгу о Генрихе Гейне, за что благодарные горожане выхлопочут ему пособие, или даже пенсию, и он перестанет пить водку, перейдет на доппель-кюмель и баварские сосиски. Это будущее виделось ему в красках фильма «Девушка моей мечты», где прелестная, но тяжеловатая в корме Марика Рёкк спрашивает «где здесь пятая точка», ложась пышным бюстом на плечи горного инженера. Мечты окутали Жору, ему стало тепло и он уснул, тяжело завидуя в полусне тем, кто спит на кроватях в палатах, тех, у кого нога подвешена на сложный механизм из противовесов и милая сестричка, прикусив губку, ставит укол или капельницу, а зав. отделением, в развевающемся белом халате, присаживается на табурет и говорит киношным голосом – ну-с, батенька, как провели ночь?

Когда Белобородова, после двух операций из-за смещения перелома все-таки выписали из больницы, и он, опираясь на казенные костыли, допрыгал до квартиры, то, открыв без ключа дверь, увидел свою квартиру не разоренной, а чисто убранной, и милая женщина в передничке, сооруженном из его, Жориной рубашки, жарила картошку на кухне. Вы кто? обалдел Белобородов. Жора? – мы ж с тобой уж два года как живем, – отозвалась белозубая, похожая на пионера – героя молодая женщина. А ты это ... – Жора покачивался, – чего ж в больницу не приезжала? Так я у мамы была, в Вологде, – просто ответила она, – вчера приехала, хотела искать тебя, а ты сам пришел. Ничего себе, я приложился, – Жора, не выпуская костылей, потрогал затылок, – значит, еще и амнезия. Вот тебе и Германия. Так, я может того – и не филолог? Ясно было одно – с Дюссельдорфом он погорячился. Впрочем, девушка его реальности и вправду – была похожа на Марику Рёкк.

Корова

– Славичек? – голос тещи был подозрительно, мармеладно, сладок, – Славичка? СЫночка? Славка Верещагин только что, закончив совещание, послал коллектив по рабочим местам и был просто в ярости. Анна Никитишна! – Славка держал в руках папку с отказом банка, – я вам ... вас... сколько просил? Не звоните вы мне в контору! Я работаю, между прочим! А я, Славичек, можно подумать, – зачатила тёща, – на печке, сложа руки лежу? У меня и хлев, и куры, и порося, у меня картошка не перебрата, у меня сено подгнивши... Славик положил сотовый и уставился в густо-серое московское небо. По небу летали вертолеты, мерцали огоньки на вышках и небоскрёбах, и Славик подумал, что скоро в небе будут пробки и мэр делает небесное метро, с кольцевыми и радиальными. Трубка продолжала пищать, рыдать и хрюкать. Нет, – сказал Славик на всякий случай, решив, что опять речь идет о ремонте крыши. На те деньги, что он отправлял в деревню, можно было бы замок, как у артиста Птичкина выстроить. Ты понимаешь, Славичка, мужиков-то не оставши? А мне куда ее в зиму-т? А сено сгнивши, а баранОв еще как-никак, а Ветку всё, под нож, она ж не покрылась, чего держать-то? Сообразив, что речь идёт о корове, мрачно гремевшей цепями в хлеву, Славик очнулся. – А я тут при чем? Анна Никитишна? Вам новую корову из Швейцарии выписать? Телефон смолк. И снова полилось – это как на шоколадке? Синю-ю-ю? А ну её, к лешаму корову ту. Ты, сыночка, приедь, заколи, а то в деревне токо я да бабка Пелагея. Мать, ты в уме? – Славик поперхнулся, – типа я корову убить? А чего сразу убить? Она ж корова? Её ж колют, и все. Я освежую сама, мне ж как? Да пошла ты! – заорал Славик, – свежи на мясокомбинат! Внуков на лето не возьму, – и теща отсоединилась. Матеря на чем свет стоит тещу, жену, умотавшую на Мальдивы, детей, гувернантку, садовника и всю постылую зряшную жизнь, Верещагин вызвал секретаршу, дал ц.у., и сказал – еду на уик-энд. В Таиланд. Билеты заказать? Элла надела праздничную улыбку. Не надо, – отрезал Верещагин, – сам.

Гелендваген, сойдя с трассы на деревенское бездорожье, обиделся. Славик похлопал его по собачке, приклеенной на передней панели, и сказал – не бзди, всего пятьдесят четыре кило, считай, что мы на ралли!

Тещина изба выделялась среди полусгнивших и развалившихся домов. Обшитая блокхаусом, под алой металлочерепицей, даже с кирпичными трубами и флюгером – дворец... Теща вышла в каком-то рванье, обмотанная дырявым фартуком, в резиновых чунях – ты мать, в налоговую собралась? – Славик подставил щеку под поцелуй. Да откуда деньги-то взять, Славичка ... – теща была профессиональной нищенкой, – ты ж знаш, кака пенсия-то... копейки, поисть не на что, а в аптеку и не дойти...

В избе стол был накрыт с общепитовским размахом – крупно рубленый винегрет, огурцы размером с трехлитровую банку, да картошка с постным маслом. Правда, водка была. Торговая. За 250. Скучно живете, Анна Никитишна, – укорил ее Верещагин, – куры что, не несутся? Кролики сдохли? Плохо зятя встречаешь, мать... Тёща, забежала глазами, зашмыгала носом и по ковровым дорожкам, сменившим половички, шмыгнула в «залу». Верещагин знал, что там стоит двухкамерный холодильник Liebherr, и тёща даже стремянку выпросила, чтобы, «значить, до верхних полок доставать»...

Тёща шуршала за стеной, как крахмальная юбка. Она разворачивала какие-то пакетики, отвинчивала крышки, – короче, вскрывала нетрудовые доходы. Из принесенного ею ведра на стол был выставлен сыр в голубеющей не первый год плесени, высохшая до дна икра в банке, мутные маслины и заиндевевшая сосиска. С нового года, поди? – Славик отломил пол-булки и запил водкой. А я чего-то? это вы тут привезли... а у меня ижжого, а ищо плесень, я то думала курям, а баба Пелагея сказала, сдохнут, сама исть не стала. Вот, тебя ждали. Давай,

сынок, а то темнеет как быстро, а у меня ланпочка там одна, денег-то нет, сам понимаешь? На этих словах теща сунула в руки Верещагина топор. А чего ручка липкая? – спросил зять, – убила кого, Никитишна? Не! я кур немного, а так – нет. А что? Налоги надо? Тьфу на вас, мамаша, – и Верещагин твердо дошел до сени. Там Анна Никитична накинута на него задубевший от крови и перьев халат, отчего Славик стал похож на жертву Ку-клус-клановцев. Ты еще глони, глони, оно по первости неловко, – теща совала в нос Верещагину ковш теплого самогона. Сам сказал, это как это на что похоже т? А! вискас же! Виски, – и Славик опрокинул ковшик и чуть не умер.

В хлеву тускло теплилась 40-свечовая лампочка, бережно заключенная в паутинный кокон. Блеяли овцы, кабан по кличке Кусок рыл пятакком пол, желая осуществить побег на волю. Квохтали куры, сидящие на грязных от помета жердинах и рыжие их яйца падали в солому. Ветка, старая уже корова, стояла и задумчиво смотрела на огромную, с кошку, крысу, расположившуюся в корыте с пойлом. Ветка повернула голову, увидела бабку, мыкнула приветственно, потерлась рогом о столб. Ишь, ишо доится! – восхищенно сказала теща, – топор убери, подою сперва. В хлеву было ужасно. Верещагин, которому выхлоп в московской пробке был слаще парного молока, брезгливо принюхивался. Такое впечатление, что все население хлева только и делало, что беспрестанно испражнялось. Слышались плюхи, шмяки, гром струй и прочая музыка сфер. Пахло чудовищно. Чем вы их кормите-то? – Верещагин выдирал из бараньей пасти подол халата. Баран блеял, смотрел на Верещагина вертикальным зрачком и продолжал жрать халат. Чем-чем, – всплакнула теща, – что сама ем, то им даю... Ужас, так это они с сервилата так? Анна Никитишна подтянула к себе подойник, по привычке отерла вымя грязной марлицей, встала, растирая спину – иди, Славичка, прям в шею, и все. И вылетела пулей из хлева, задев подойник. Молоко разбежалось струйкой и впиталось в навозную жижу. Верещагин посмотрел Ветке в глаза и чуть не помер со страху. Ветка смотрела на него, как смотрит мать на непутевого сына – ну, что же ты, милый? Ну? Давай... Из глаза, окруженного редкими уже ресницами, выкатилась мутноватая слеза. ТВОЮ МАТЬ! – заорал протрезвевший Славик и вышел на двор. Теща кружила невдалеке. На – лови топор! – Славка бросил топор по направлению к теще. Топор вонзился в сруб бани и умолк. Чего? Чего? Меня убить? – Анна Никитична взяла старт и принялась описывать круги по двору.

Да как ты можешь? Она ж тебе родная, корова-то! – Верещагин поднимал голову, подпирал рукой – но голова падала. – Мать, ты из чего гонишь-то? Что корова дает? Это ж убийственная сила! Народные методы, – Анна Никитична макала в чашку с чаем куски московского торта. – Потому как знали! Вот, давеча сахару купила. По 35 рублей кило. А сёдни выкинули по 23 рубли. Как жить? Самогонку-то как ставить? Славик отлип от клеенки, – сыпь по 35, чего думать-то? Так жалко, – парировала теща, – а подешевет? А подорожат? – передразнил её Верещагин, – ты чё, министр торговли? А как бы была, я бы всех сразу расстреляла! – теща поболтала ложкой в чашке, – чегой-то торт нестойкай, должно это... пальмовое масло? Телевизор выкину, – сказал Верещагин и вышел покурить. Вызвездило, хватануло морозцем, забелела трава, лужицы затянуло коркою. От хлева пахло теплом, сытым покоем, и даже запах навоза показался Верещагину приятным. Слегка пошатываясь, он зашел в хлев, нащарил выключатель. Сразу заблеяли овцы, баран-агрессор начал долбить крутым лбом ясли с сеном, а Ветка, лежавшая на давно не меняной подстилке, подняла свою голову – сама она была масти обычной, черно-белой, а на лбу – как карта Африки, пятно черное. Нос влажный, зернистый, как паюсная икра. Славка подошел, почесал её за ухом. Ветка аж сощурилась. Чем тебя угостить-то? – Верещагин достал сигарету, – корова вытянула язык и съела её. Балуешься? – укоризненно сказал Славка, – табачок жуешь... И так и простоял рядом – чуть не с полчаса. Вышел, забыв погасить свет, принюхался к куртке – фу, вонь – ни одна химчистка не спасет. Вытащил сотовый. Надь? – трубку сняли не сразу. Слышался веселый плеск, визги, далекий шум музыки, кто-то ржал, икая, видимо, на Мальдивах отрывались наши. По полной.

Вместе с Камеди-Клаб. – Надь? Ой, хто? Славчик? Ты че не спишь? – Надюха была в полном раскладе, – мальчик мой? Иди, спи, мы тут с девчонками хэллоу... готовимся... короче. Надь! Я у мамы твоей, в Перестукино. – Верещагину вдруг стало жалко себя, – Надь! Я тут в хлеву. Ну, рядом. Надь? Хрен тебя к матери-то понесло? Она жива, что ли? Ой... помёрла? – Славик понял, что Надька сделала отмашку компании и все стихло, – когда же маманечка моя... ой моя страдалница-то... Господи, труженица, ни сна, ни отдыха... Я, это, на похороны не успею. Слав, ты там памятник закажи и чтобы покруче все и типа венки от нас, от Мальдив... ага? Да ты очумела, сколько коктейлей на грудь взяла? Я ж говорю в хлеву. Анна Никитишна в порядке, в полном порядке. Она говорит, чтобы я корову вашу убил. Типа топором. А хрена ты мне звонишь? Я тут чуть от страданий не умерла! Мамочка моя! Три года мамульку не видала... чего корова? – переменяла тон Надька, – мамка просит заколоть, заколи. Ты мужик или как? Делов-то – не знаю прям. Батя ваще и не замечал, он и у соседей всех... все, Верещагин, не отвлекай. А! Прямыни возьми. Двадцать кило, пусть мамка не жульничат... сквалыга та еще! И печенку возьми. Все, отбой... И Верещагин, потрясенный словом «прямина», поплелся в избу.

Утром Верещагин не проснулся. Он встал, пошел в сделанный на его бабки и по его проекту санузел и попытался понять – КТО в зеркале? Ответа на этот вопрос не было. Опомиться Анна Никитична не дала. Ты сначала дело сделай, хорош zenки заливать! – она грохнула банку растворимого кофе, хотела грохнуть и чайник – но пожалела. Верещагин отодвинул от себя кружку с портретом знакомого всем лица и вышел курить на двор. Растеплело, капало с крыш, выпущенные на волю куры рылись в навозной куче, ворона, сидящая на березе, мерно раскачивалась при порывах ветра. Славка в который раз зашел в хлев, и Ветка, узнав его, потешно сложила губы и дунула одним дыханием «му-у-у-у?!» Славка шагнул решительно, долго искал кривой гвоздь, которым запыралось стойло, и, взяв ржавую цепь в руки, потянул на себя. Ветка удивилась и вышла. Дойдя до одонка, прикрытого рваным брезентом, она остановилась и потянула клок сена. Жевала она задумчиво, глядя в небо, словно говоря – никакого сравнения со свежей травой... сами бы стали такое есть? Бока у коровы были впалые, даже ребра торчали ободьями, хвост, давно испачканный навозом, вид имел жалкий. Да и вся она была какая-то несчастная, ей-Богу, подумал Славка, она ж не живет, а прям страдает! Неужели нельзя ее помыть? Анна Никитишна, – теща описывала малые круги, подготовив крюк и веревку для подвески туши, – какая-то она у вас лядащая... чего вы ее не помое-те? Мы вот в Финляндии были, там коровы – как Мерседес, до того ухоженные. Ой, ляндия-минляндия, гляньте-ка! Я с утра до ночи, не присев, вокруг их бегаю, денег нет, помощи ждать неоткуда! Хожу в обносках! Дом развалился... ну... развалится вот-вот... судьба моя горькая! Верещагин, ежемесячно переводивший теще суммы, на которые может существовать безбедно большое село, взял корову за цепь и повел со двора. Куда? Куда? Корову сводят! – теща побежала за ними, теряя чуни и голоса на всю пустую округу. – Как оттель тащить будем? Додумал? Во дворе коли! В город повезу, – мрачно сказал Верещагин, – теперь закон новый. На дому нельзя. Только в присутствии ветеринара. Во, – он подвязал Ветку к березе, – гуляй. Я в город.

Из города Верещагин вернулся в легком дыму от паленой водки. Мужички, отловленные им в городе вместе с грузовиком, привычно сбросили сходни с заднего борта, и, подталкивая корову, уместили ее в кузове. Ну, мамаша, прощайтесь с кормилицей, – весело крикнул старший. Чу, – Анна Никитична утерла для порядку сморщенную щечку, – от ей жирность низкая была, и вообще она с характером дурным. Чо уж, отжила на моей шее! – и пошла в дом. Корова стояла, покачиваясь, в кузове, и с такой тоскою смотрела на свой хлев, что Верещагин испугался. Обожди, мужики, я следом, без меня там ничего, понятно? А нам один фиг, – мужики одновременно отбросили бычки и закрылись в кабине. Из распахнутого окна раздался тещин крик.

В городе была унылая слякоть, ветеринар запил, и вообще была суббота, и, хотя работы и в городе не было – но город спал, потому как те, кто мотался в Москву и в Питер, возвраща-

лись на выходные – к семье. Хотели вести к цыганам, но Славка запротестовал. Ветка покачивалась в кузове, мычала, вела себя обреченно-беспокойно. Грузовик стоял в «избяной» части райцентра, дымок шел из труб, мельтешились дети, кто-то спешно укладывал поленницу, кто-то чинил к зиме трактор. Из-за забора, крашеного в голубой цвет, за коровьими муками наблюдал дед. Не выдержав, выбежал из калитки с криками, тебя бы, ирод так! Доча моя, голодная, не доеная, она ж пить хочет! тебя, сукин кот, на расстрел поведут, небось, стакан нальют? Верещагин молчал, сидел в своем Гелендвагене и смотрел на косую церквушку, косые заборы, и все ему казалось – будто он попал в чужой сон, который никак не кончится. Старичок притащил сена, ведро воды, и Ветка пила, раздувая бока, и помыкивала, и дед, слив остатки воды за кузов, тут же и подоил ее, ловко оттягивая соски. Ветка от благодарности аж вздохнула. Время шло к вечеру, и Верещагин, уставший от всего этого обморока, сказал мужичкам – двадцатый камэ Новой Риги, сколько? Мужики чесали лысины под кепками, набивали цену, намекали на ментовские засады, отсутствие документов на корову, но Верещагин даром что был тертый в девяностые и удачно державший бизнес сейчас, что сложнее, – выправил бумаги в сонном городе, да за таким количеством печатей, что можно было провезти целый зоопарк. Пожав деду руку, спросил у него соломы или сена, чего там коровы едят, купил в пекарне мешок ржаного, до того пахучего, что сам съел буханку, и, мигнув габаритами, выехал на трассу. Сек мелкий дождик, и Ветка стояла, раскачиваясь, но не страдала – натянули на дуги брезент с надписью «ЛЮДИ». И пошли они гордо по трассе М9. Балтия, как никак. До Волоколамска Ветка и не пикнула, пару раз тормозили гайцы, но Верещагин, вылезая из Гелендвагена, сразу давал понять, что денег хватит на все, потому и не платил. До поселка «Cottage Grand Village» добрались мягко, вывели одуревшую Ветку на английский газон, пошуршали купюрами, потрясли Верещагина за руку, сказав, что если он так к коровам расположен, они ему завтра еще штук десять – без вопроса. Мухой доставят. Блин, – сказал сам себе Верещагин, – куда ее теперь-то? Телефон разрывался. Звонила теща в жажде денег. Верещагин снял трубку – скоко дали-т, Славча? Прямину взявши? А шкуру? Сбежала, мать, твоя корова, – сурово сказала Славка. – Жди. Сказала, с быком вернется. Не завидую я тебе, Анна Никитишна...

Верещагин спал в своей спальне на втором этаже, а у дверей маялся садовник, он же сторож, он же электрик и так далее. Короче, золотой мужик. Таджик во втором поколении, как он сам про себя говорил. Звали его для удобства Васей. Вообще прислуга была коровой взволнована. Ветка же освоилась быстро, ночевала на летней веранде и шлепала лепехи на пол из даурской лиственницы. Славик, наконец, очнулся, пошел в душ, где долго смывал с себя чудовищно прилипчивый запах, и все тер себя и скоблил щеткой, и плевался, и фыркал, а потом брился с наслаждением, думая, какую бы подляну подложить теще? Решив снять ее с денежного довольствия, вышел на нижнюю террасу и увидел корову. ВАСЯ! – прибежал Вася. – Откуда у нас корова? Так вы вчера и привезли. Из Таиланда же? Ага. Самолетом. Корова, услышав Славкин голос, оставив веранду, галопом помчалась к нему. Признала, – сказал Васька, – точно ваша. У них в Таиланде и не поймешь – где собака, а где корова. Сложно люди живут. Верещагин смотрел в коровьи глаза, и они лучились таким счастьем и доверием, что Верещагин, который дома и рыбок не держал, дрогнул. Наказав Ваське отмыть корову, заказал на дом доставку коровьего инвентаря, от шампуня до спец-набора по уходу за копытами. Сено привезли заграничное, выдавали, сволочи, за Новозеландское, судя по цене, но по QR коду вышла Беларусь. Через час к Верещагину заявился управляющий поселком и заявил, что коров нельзя держать. Правительство запретило. Типа корова – дикое животное. Даже на участке в три гектара. Даже в отдельном помещении. Соседи не поймут. Часть денег из стопки, лежащей на столе, переехала к управляющему. Ну, поймут. Но не все! Еще стопочка. Если отдельное помещение? А есть? – быстро откликнулся Верещагин. Разве на краю, где конюшни? В паддок не войдет, – Славик задумался. Расширим, – сказал управляющий. А как оформим? А как лошадь и запишем. Не кошка же? А вымя? А такая лошадь.

И поселилась Ветка, отмытая, с подрезанными и почищенными копытами, в паддоке, рядом с лошадами. Выстиранная в дорогих шампунях, она оказалась вполне ничего коровкой, и даже силуэт Африки на ее лбу стал больше походить на Южную Америку. Миротворительный Веткин нрав, неисчерпаемое любопытство и ИСТОРИЯ – привлекли к ней не только жителей поселка богатых деловых коттедж-гранд-вилладжцев, но и население окрестных богатых и небогатых поселков. Пару репортажей по НТВ, и инстаграмм сделали свое дело – Ветка стала звездой. От хорошего питания и ухода она вдруг согласилась на ухаживания быка, которого доставили в специальном транспорте, и произвела на свет телочку. С навозом, кстати, проблем вообще не было – на него записывались. Специальный человек с пластиковым мешком четко блюл очередность и качество натур-продукта.

Мальдивская жена, после дикого скандала с попыткой развестись – чему, впрочем, Верещагин не препятствовал, вовремя срубила фишку и только и болталась у коровьего выгула, делая обворожительные селфи.

Вот, кто пострадал, так это теща... она чуть не расколодила телевизор, и пыталась требовать с зятя деньги, и он ей перевел – 330 кг на 280 рублей – 92 400 рублей. Но, за вычетом расходов на транспорт, питание и хорошее отношение вышло немного – я не скажу, сколько – сама и половины бы не дала.

«Мышка»

Почему Машку Милову прозвали «Мышкой», никто не помнил. Меньше всего она на мышь походила – Машка была высоченная, длинноногая, и вся какая-то летящая, и жесты ее были плавные – как сильные взмахи крыльев. Машка была миловидна больше, чем красива, а уж sexарреал до такой степени, что мужчины, попадавшие в эту зону, теряли голову. Машка пошла работать в театр не из-за любви к искусству, а ради интереса. На скромной должности реквизитора, выносящего на сцену то кружки, то подсвечники, то живого кота, она моментально успела перезнакомиться со всеми, была в меру услужлива, в меру смешлива, в интриги не лезла, не собирала сплетен, пила, не хмелея, могла переспать с кем надо, не вдаваясь в подробности завтрашних отношений и к концу первого года работы казалась совершенно своей и незаменимой. Мальчики, вчерашние студенты, на ее глазах получали главные роли, и вместе со всеми, на-равных, она отмечала эти вводы в ВТО, откуда заваливалась вместе с веселой компанией в театральное общежитие, не гнушалась сбегать к таксистам за водкой, и вообще была – «своим парнем». Мышкой она по театру шмыгала, точнее – цокала каблучками – что-то, а уж каблуки она носила высокие. Кутившие в антракте актеры провожали ее взглядами, когда она пробежала мимо них по лестнице, держа поднос с реквизитом, и вздыхали. Все было бы ничего, не возьми главный режиссер известного молодого актера на роль в новом спектакле. Актер уже успел сняться, жениться, развестись и прославиться до того, что выходил после спектакля не через служебный, а через черный ход, отбиваясь от поклонниц. Конечно, в него влюблялись поголовно все – от вахтерши Мины Львовны Базелис до народной актрисы Валечки Урюпинской, игравшей еще у Мейерхольда. Машка пропала сразу же, когда вошла с ним в кабинку лифта. За те два этажа – от машинного отделения до мужских гримерок она ощутила одновременно страшный холод, горячечный озноб, потеряла способность говорить и даже не могла пошевелить рукой. Митя Вяземский, как все бабники, почуяв легкую добычу, тут же в лифте и готов был приступить к обольщению, но не успел. За съемками, банкетам, футболом и репетициями он про Мышку забыл, хотя ощущал ее в темноте кулис безошибочно, как хищник – жертву. Мышка пересмотрела все репетиции, а на спектакле для пап и мам выпросила место в 7 ряду партера и ела Вяземского глазами, и не спала потом ночью, и на премьере, оказавшись его визави, моментально призывный сигнал от Мити словила, и мчалась с ним вместе, в его иномарке, по чужой и прекрасной ночной Москве, и он, держа руль левой, правой прижимал ее к себе и дул ей в висок. Первая ночь так и прошла в машине, и Мышка хотела по всегдашней женской хитрости что-то да оставить вещичку пустячную, но нужную, чтобы был предлог – еще раз! но Вяземский был осторожен и улыбаясь голливудской улыбочкой, протянул ей сумочку в окно. А потом он стал приходить к ней домой. Когда хотел. Иногда каждый день, иногда раз в месяц, и она перестала жить, и стала ждать. Она боялась выйти в магазин, она отказалась от подаренного щенка – вдруг Митя придет, а я с собакой гуляю? Митя приходил ночью. Днем. Утром. Ел, спал, трепал ее по щечке и говорил – Мышка, ты классная девчонка, мне с тобой ХОРОШО. И всё. Никаких «люблю». Мышка растеряла всех своих мальчиков, и существовала между театром и домом. Прошел не первый год их близости, но она все никак не могла забеременеть, а в мечтах было одно – мальчик, непременно, мальчик – разве от таких актеров рождаются девочки? И мальчик – вылитый Митя, Дим Димыч, кареглазый, длинный, с родинкой на сгибе локтя и такой же невозможно красивый. Но не случилось. Митя появлялся все так же, и даже выводил Мышку в свет, как красивую собачку, и она ждала его, а он уходил с другими – помоложе, посвежее, поярче. Он любил славу, и девочек подбирал известных – манекенщиц, актрис, певичек, балетных... и Мышка шла пешком на свою Новокузнецкую, в тихо дышащую коммуналку и садилась у окна, и ждала. Однажды она не выдержала и согласилась взять путевку Дом актера, в Рузу, не в сезон, а в ноябре.

И месяц просидела в своей комнате, слушая в кассетнике одну и ту же песню Хулио Иглесиаса, под которую они однажды танцевали в чьей-то мастерской. Когда она вернулась, Димочка, встретив ее в служебном буфете, принес свою чашку с кофе к ней за столик, и сказал – ты где была, Машка? Я к тебе приезжал – хотел предложение сделать. А тебя не было. А, а, а, – Машка начала заикаться, – я в Рузе была. Я не знала! А теперь? Теперь поздно, – ответил Митя, – я взял и женился.

Мышка так и осталась работать реквизитором. Кто-то же должен приносить на сцену чашки и даже живую кошку?

Токсово

Лёка поступила в институт. В МАДИ. Зачем, она и сама не знала. Провалилась на актерский в Щуку, махнула рукой – и поступила. Не стала дожидаться результатов, собрала сумку, и махнула к тетке, под Ленинград, в Токсово. Лёка в Токсово выросла. Мамина сестра, Вера, вышла после войны замуж за ленинградца и уехала. И разлюбила Москву, и воротила нос от Третьяковки, и называла Москву-реку «грязной лужей». Мама Лёки смеялась, и отсылала Лёку на поезде Москва-Ленинград – к кузинам, которые Лёку, самую младшую из сестер, обожали и баловали. Лёке и самой нравился Ленинград, и она уже с 9 лет свободно ориентировалась в городе, и сама ездила на теткину дачу – в Токсово. Электричка от станции Ручьи бежала между сосновых боров, в которых прятались уютные финские домики, и названия станций были тоже уютные и финские – Кавголово, например. В Токсово она вместе со всеми стремглав бежала, чтобы успеть на рейсовый автобус, и авоська с бидоном, в который тетка складывала котлеты, била по ее ногам. В автобусе было душно и тесно, но постепенно все сходили, сходили, и до 4-го садоводства доезжало лишь несколько человек. Тёткин дом стоял в самой глубине, он был несуразно велик и хронически не достроен, но вокруг все цвело и благоухало, а на грядках, уходящих вниз, к болотцу, поспевала клубника, и вечерами на веранде собиралась молодежь. В садоводстве не было электричества, и, как только темнело, выносили керосиновые лампы, и сладко пахло керосином, и чьи-то пальцы подкручивали фитиль, и бабочки бились о стекло, и тусклый свет падал на карты – играли самозабвенно, и в преферанс, и в Кинга, в «тысячу». Все эти игры были поводом для каких-то начинающих влюбленностей, как эти взгляды, эти шуточки, взрывы смеха или слезы обиды – Лёка, по молодости не принимавшая участия в играх, страдала оттого, что она такая маленькая, и никто не принимает ее всерьез, и ее гнали спать, в теткину половину, а тетка храпела и ходила по ночам курить Беломор – к чему она привыкла с войны. А в то лето, когда Лёка приехала, поступив, все даже успели пережениться, и она уже была равная им – пусть младше, но студентка, и она убегала по вечерам купаться на Артиллерийское озеро, самое дальнее и глубокое, и плавала там – одна, воображая о себе невесть что и все поджидала, когда же явится – ОН, такой неотразимый и нездешний, как актер Роберт Редфорд, и красиво отбросит челку со лба. Вместо Роберта принцем оказался вполне заурядный студент Техноложки, который не умел целоваться и ужасно пах одеколоном «Шипр». Они сидели в компании у костра, пели песни про атлантов, держащих небо и про синхрофазотроны, и все были страшно самоуверенны и красивы. Студент держал руку на Лёкином плече, обозначая её, Лёкину, принадлежность ему, и, в конце лета, перебрав портвейна, и закулив в первый раз в жизни, Лёка уступила студенту, после чего перепугалась и утром уехала в Ленинград, а оттуда – в Москву. Студент писал ей глупые письма, в которых полно было ошибок, и вкладывал мутные любительские фотокарточки. По счастью, последствий не случилось, и Лёка, бросив ненавистный МАДИ, поступила в Щепку, счастливо отучилась в ней и стала обычной актрисой в академическом театре Москвы. Из памяти стерлось почти всё, кроме этого бидона с котлетами, больно стучавшего по ногам и запаха одеколона «Шипр».

Массовка

Она была актрисой. Ну, хорошо, она не была актрисой. Да, она просто выходила на сцену в массовке. А что такого? Зритель видел её, и Римма ощущала токи зала, она чувствовала его теплую и страшную глубину, наполненную до отказа в день премьеры, и ряды, уходящие вверх, от партера к бельэтажу, наоборот, казались ей уходящими вниз, ниже оркестровой ямы. Минус бесконечность. Римма всегда выходила на поклонах, и, хотя никто не бросал ей букетов, она раскланивалась, и даже осмеливалась посылать в зал воздушные поцелуи. Забавная какая девушка, сказал молодой режиссер главному режиссеру – почему ты ее не занимаешь? Я ее не вижу, – сказал главный, – да куда полтруппы девать? У нас норму никто не вырабатывает, кроме заслуженных. А я возьму, позволишь? – молодой уже придумал, как забавно будет смотреться Римма на сцене его театра. Главный пожал плечами.

– Римма? Вас ведь, кажется, так зовут? – молодой подсел к ней в служебном буфете. Римма так перепугалась, что разлила стакан, в котором она мешала томатный сок со сметаной. А что? Да вы не волнуйтесь так, – молодой надел ослепительную улыбку, которая еще больше испугала Римму. Я вас хочу пригласить – исполнить роль в моей новой постановке. Театр имени Мочалова, известен вам? Еще бы! – Римма провела пальцем дорожку, и теперь сок стекал на пол, брызгая на штаны молодого режиссера. Ну вот, моя визитка – жду вас.

Сначала долго читали пьесу. Римма стеснялась спросить, о чем она, но понимала, что это – новое направление в искусстве. Дома она сидела в интернете, забивая в поисковик слова, которые ей удалось запомнить, но гугл молчал. Должно быть, сам Виктор Викторович – молодой режиссер, и написал, решила Римма и стала зубрить. Роль была не то, чтобы большой, но и не маленькой. Значительная роль, сказал ей Виктор Викторович. Эманация Всемирного Зла. Слово «эманация» Римме понравилось, а вот «зло» – не очень. Текст состоял из междометий, ахов, вздохов и звуков погремушки, которую полагалось теперь подавать Римме на репетицию. Премьера собрала едва не полстолицы – Виктор Викторович был известен тем, что ниспровергал. Всё абсолютно. Оказалось, – Римма подслушала разговор в курилке, что пьеса, которую они репетировали, называлась «Сыпь» и явилась плодом раздумий Виктора Викторовича над пьесами Антона Чехова, эдакой контаминацией – " Сад трех вишневых чаек». Сестер не было, сада тоже, была, правда одинокая Раневская с топором, Чебутыкин с наганом и кордебалет. Мужской. Римма, подвешенная в люльке на штанкетный подъем, то опускалась, то поднималась, настойчиво дрожа погремушкой. Тени метались по сцене, хохотала какая-то птица, схожая с павлином, а герои всех трех пьес, одетые в черные трико, выкрикивали отрывки из своих монологов. Аплодировали неистово. Сцену забросали цветами, а актер, исполнявший роль Раневской, демонстративно разоблачился на поклонах, сняв с себя боа и платье цвета выдохшегося Шампанского. Когда погасли огни, и актеры разошлись, Римма, забытая в люльке, затосковала. Она сначала робко звала – эй, кто-нибудь?! потом перешла к «спасите и помогите» и вопила так долго, что пришел вахтер, включил дежурный свет, увидел Римму, зябнувшую на сквозняке, развел руки – дескать, рабочих никого нет, терпите, барышня, и ушел. Ночью люльку качало, и Римма, засыпая, думала, что все-таки, она наконец-то стала настоящей актрисой, и слава непременно найдет её. Утром её нашли рабочие сцены, и, дыша банкетным перегаром, спустили люльку, дали выпить Римме водки и даже пустили ее поспать на продавленном диванчике. Спектакль сняли сразу после премьеры «за издевательство над классикой», Виктор Викторович уехал в Новую Зеландию, а Римма, продолжая выходить в массовке, кланялась теперь с некоторым превосходством над публикой – все-таки, она стала – актрисой.

Сладкая жизнь

Сашка, соблазнившись легкой халтурой по подмосковным дачам, поехал с братом Колькой, и калымил будь здоров, работал честно, надеясь на «сарафанное радио», но сорвалось, накосячили с крышей, потому сбежали без расчета. Колька подался назад, к жене, а Сашка рискнул покуситься на Москву – а чего, 24 года, силы есть, работы полно – не пропаду. Снял койку, и пошел искать. Со стройки его погнали – там свои, фантазии про грузчиков сразу пропали, мыкался месяц – так, пищу доставить, курьерил – но копейки, и так – баловство. Оказалось, что Москва давно поделена, и его, Сашку Макарова, никто не ждет. Но случай-то подвернется, как иначе? Так, стоял, курил у супермаркета, дамочка подъехала, крутая, на джипе, вышла – Сашку с пяток до кепки взглядом ожгла, каблучками заскользила по плитке, Сашка, не будь дураком – ручку вовремя подставил, и сзади поплелся, вроде бы тоже – за пармезаном с хамоном, понимаешь ли. От касс дамочка тележку ему подтолкнула – мол, понял? Сашка понял. И стал он жить на проспекте Вернадского, в башне, на 26 этаже, в квартире, где не было перегородок, а были какие-то подпорки и стеклянные стены, а окна были до пола, и Сашке было так страшно, что он в первое время к окну на карачках подползал – думал – выпадет сейчас, и – вдребезги...

Хозяйку звали Кристиной. Где она работала, и работала ли вообще – Сашка такого вопроса задать себе не позволял. Пару дней проспал он в каком-то пространстве, вроде шкафа – на массажной кушетке и не знал, куда сесть да как встать. Кристина, приглядевшись, приспавшись, стала лепить из него столичного мальчика, водила его, как собачонку, по модным парикмахерским, в которых странные то ли мужики, то ли девки состригли ему каштановые кудри, выкрасили пару прядок в густо фиолетовый и обрили затылок. Сашка думал, что теперь все на него пальцем будут показывать – гляди, урод! но – нет. Уважительно стали смотреть. Кристина на него денег не пожалела, обула-одела, по ресторанам водила, спросила – какой тебе айфон, мальчик? На что Сашка сглотнул и промолчал. Хороший вкус, – сморщила носик Кристина и купила последний Apple. Сашка вытаскивал его, тер рукавом рубашки и думал, что корову можно вместо этой фигни купить запросто. А потом втянулся, и уже капризничал, и все плечи были в татуировках, да цветных, и уже вопросыки – куда летом поедет? и когда тачка будет? и уже – где ты шлялась, и даже в глаз попробовал дать, и вышло хорошо, даже еще в ногах валялась – прощения просила. Знакомства росли, да и девочки стали попадаться посвежее и побогаче, а когда Кристина, ломая ногти, подралась с ним, приревновав, он дал ей, не жалея, ногами, от всей души... а она беременная была, и скорая тут, он и бабок всем насовал – а не спасли. А после похорон пришел дядечка, скучный такой, лысенький, Сашка хотел и ему дать с тоски и от беспробудной пьянки, но выбросили Сашку на тротуар рядом с домом-башней, а дядечка ему в кармашек ввинтил пятитысячную и посоветовал отъехать домой, к маме.

Так и живет Санек в родной деревне, волосы-то отрасли, а вот драконы чудные так и остались по плечам, он даже и в речке-то летом стесняется искупаться.

Сон

Оля нырнула в лужу на остановке, и тут же почувствовала, что левый уже носок мокрый, а ехать было далеко, и сразу нужно было идти гулять с собакой, и потом идти в магазин, потому, что не было дома ничего, кроме увядшего огурца, а потом позвонила подруга, и она уснула в кресле, а уже к утру ломало так, что выть хотелось, и пресловутой воды подать было некому, и Оля кляла себя, декабрь, лужи, и китайские ботинки из «непромокаемой кожи», и все было ужасно, и стучало в затылке и телу было плохо в любом положении, и она из последних сил сбросила с себя плед и поползла до дивана, и – уснула. Она шла по набережной незнакомого города, и город был южный, средиземноморский, зарубежный совершенно, и ей навстречу все текла праздная толпа, такая плотная, что Оле буквально приходилось протискиваться, и, когда она уткнулась носом в Лешку, она разозлилась, что вот – видит же, идет женщина, а он – стоит! А Лёшка обхватил ее своими ручищами, у него всегда были длинные руки и несуразно крупные кисти, и Оля говорила, что он похож на обезьяну, а Лёшка смеялся, и говорил, что она похожа на белку, только длинную и с косичками. Оля обрадовалась Лёшке, он изменился совершенно – и остался прежним. У него, у единственного, были странные глаза – зеленая радужка с темным ободком и длиннющие ресницы, это пошло бы мне, а не тебе, говорила Оля, а еще у него были темные прямые брови и такой крупный рот, что Олин папа звал его обидно «губошлёпом», а Олька любила Лёшку, как безумная, и они поступили в один институт, чтобы быть вместе, и целовались в метро, залезая в последний вагон – катались по кольцевой, потому что был март, а их родители были против свадьбы. И сейчас она все это хотела ему рассказать, и объяснить, наконец, почему она ушла от него, она не бросила, нет – ей просто надо было подумать, но Лешка тащил ее за руку по набережной – туда, где виднелись мачты – и Оля поняла, что это и есть яхты, которыми он бредил – и все стены комнаты у него были в фотографиях, и Олька сидела, уместив подбородок в ладони и смотрела, как он делает модель очередного парусника, а он позволял написать ей на боку – «Queen Olga» и она страшно задирала нос. А сейчас он все вел ее, и все расступались, и он целовал её в щеку на ходу, и останавливался, обнимал, гладил ее по голове и говорил – как я скучал по тебе, как я по тебе скучал... и Оле было так хорошо, как бывает тогда, когда ты попадаешь домой после ужасного, долгого пути, и теперь все позади, и только – сердце выстукивает «любима!», и щиплет в носу... и вдруг Лёшка пропал, и Оля стала бегать по набережной, и никак не могла понять – куда он мог исчезнуть? Он только что – был? Нужно позвонить, сообразила она, и тут же поняла, что потеряла сотовый, и хотела попросить у кого-то – позвонить, я заплачу – мне нужно срочно позвонить! И понимала, что у нее нет денег, и она видела телефон-автомат, но к нему была очередь, а потом – номер? Номер? И номер всплыл сам собой – 141 35 11, его, московский, на улице Академика Павлова, и Оля обрадовалась – сейчас, сейчас! Но кто-то вложил ей в руку телефон, она поднесла трубку к уху, и Лешка совершенно чужим голосом сказал – не ищи меня. Между нами все кончено. Так это я тебе тогда сказала! – закричала Оля и проснулась, потому что звонил телефон, и лаяла собака, и она сняла трубку, а женский голос сказал – Вы Оля? Вы знаете, а Алексей сегодня...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.